

Р2(с132)
0-18

Т. Облонская



ОКТАБРИНА

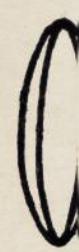
392836

СКЛ

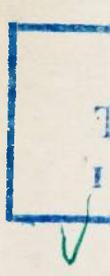
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. предыдущих выдач _____





03247275



P2 (с132)

0-

Р. Облонская

ОКТАБРИНА

Повесть



VIS

392836

ЧИТ. ЗАЛ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. ЦК ВЛКСМ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Издательство ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1957

ГУК ТО «РБИК»
Тульская областная
научная библиотека

ТОДБ
Отдел обслуживания читателей
среднего и старшего школьного
возраста

032472 0252

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автор этой книги Р. Е. Облонская родилась в Москве, окончила редакторский факультет Московского Полиграфического института, работала как критик и редактор детской и юношеской литературы. Ею обработаны для детей повести болгарских писателей И. Хаджимарчева «Пастушок Калитко» и Ст. Даскалова «Гарчо», вышедшие несколько лет тому назад в Детгизе. Она также переводит с английского, в частности принимала участие в переводе для собрания сочинений Майн Рида повестей «Белый вождь» и «Охотники за жирафами».

«Октябрина» — первая повесть Р. Облонской. В основу ее положена подлинная судьба Октябрины Смирновой. Но это не документальная повесть, не все события и действующие лица в ней подлинные, это рассказ о многих друзьях и сверстниках автора и героини, о комсомольцах, которые так же, как и Октябрина Смирнова, дышали воздухом своей Родины, крепили душевно и потому достойно встретили час испытания — Великую Отечественную войну. Они не могли быть иными, как не могла быть иной подлинная Октябрина Смирнова — скромная и отважная девушка, человек большой, светлой души. Таких, как она, было много, и они достойны того, чтобы знать о них и помнить их.



І. ДЕВОЧКА С ХАРАКТЕРОМ

«Раз, два три... Вот до двадцати досчитаю и встану».

Вставать не хотелось. Под одеялом тепло, а в комнате по утрам всегда мороз. Даже руку страшно высушить.

Октябрина открыла глаза — темно. Прислушалась — за перегородкой ни звука. Значит, мама еще не вставала. Неужели шести нет? Она протянула руку и стала тихонько шарить по столу. Почти сразу наткнулась на часы и чуть не отдернула руку: ледяные! Поднесла их к лицу, приоткрыла занавеску на окне — нет, ничего не видно. Придется спичку зажигать.

Она приподнялась, хотела уже откинуть одеяло и задумалась. Что-то сегодня в комнате не так. Но что же? И вдруг испуганно вскочила. Молчат часы, не слышно их деловитого тиканья. Октябрина прижала их к самому уху — молчат!

— Мама! — закричала она. — Мама, часы стали! Я в школу опоздала!

Попробовала зажечь лампу. Слишком вывернула фитиль, чиркнула спичкой, и в комнате сразу запахло копотью. Октябрина круто привернула фитиль — лампа погасла.

Из-за перегородки вышла Зинаида Николаевна.

— Давай-ка я зажгу, — спокойно сказала она, отнимая у дочери лампу и спички. — Да не торопись, рано еще. Наверно, и шести нет.

Но Октябрина не слушала. Она торопливо одевалась. Руки не попадали в рукава, пуговицы никак не лезли в петли. Наконец она все же оделась и с портфелем в руках кинулась в сени. Там ее перехватил отец.

— Будет тебе горячку пороть. Спят еще все. Ну, куда ты бежишь? — говорил он, придерживая ее за плечо.

— Как куда? В школу. Да пусти же, папа! Ведь я опоздаю! Ты подумай, первый раз — и опоздаю!

Николай Васильевич быстро оделся и пошел с дочкой в школу. Одной в такую рань не дойти, вон какие сугробы за ночь намело — и взрослому не пробраться.

Школа была пуста. Гулко отдавались в коридоре шаги. Топились печи, сторожиха заканчивала утреннюю уборку. Заглянув на всякий случай в классы, они вернулись домой.

Позавтракав, Октябрина снова побежала в школу. Снег уже был протоптан, морозный воздух синел, звонко перекликались ребята.

* * *

— Тося! — кричали ребята из третьей группы, окружая свою вожатую. — А у нас новенькая! Ее с твоим Васькой посадили!

И Вася Малыгин, немного сконфуженный, пожаловался сестре:

— Сроду с девчонкой не сидел и вот — на тебе!

— Ничего, может, потише станешь, — ответила Тося. — Ну, покажите вашу новенькую.

Новенькая стояла у двери класса и разговаривала с Натальей Александровной. Она была такая худая, маленькая — и не скажешь, что в третьей группе. Большущие карие глаза, высокий лоб, а волосы светлые-светлые, чуть золотистые и выются крупными кольцами.

После уроков Тося поспешила в третью группу. Как тихо. Неужели опоздала и все разошлись? Но нет, подойдя к притворенной двери, Тося услышала звонкий голос, который что-то негромко читал или рассказывал. Она осторожно заглянула в щелку. Человек десять ребят окружили новенькую. Оживленная, со слабым румянцем, проступившим на бледных щеках, она рассказывала:

— Бросил Герасим ее в воду и смотрит. А Муму захлебывается, захлебывается. Так жалко ему стало! Кинулся сам в реку и вытащил Муму. С тех пор никто не видел его в городе. Скоро прошел слух, что он вернулся в свою родную деревню, работает там и живет в своей маленькой старой избушке вместе с Муму.

— Смотри ты, как фантазирует, — услышала Тося и обернулась: рядом стояла Наталья Александровна. Переглянувшись с Тосей, учительница вошла в класс.

— А все ли ты верно рассказала? — с улыбкой спросила она.

Октябрина опустила голову и стала перебирать пояс синего платья. Ребята с недоумением смотрели то на нее, то на учительницу.

— Ну, так как же, Смирнова? — с интересом глядя на девочку, продолжала Наталья Александровна. — Разве у Тургенева все так хорошо кончается?

Октябрина подняла голову:

— Нет, — ответила она. — Там по-другому. Герасим утопил Муму.

— У-у, — разочарованно протянул Вася. Ребята зашептались.

— Верно, — подтвердила Наталья Александровна. — Зачем же ты иначе рассказывала?

— А зачем он Муму утопил? — сказала Октябрина. — Зачем барыню послушался? Не люблю, когда книжки плохо кончаются. — Она передохнула, доба-

вила тише: — Все старые книжки плохо кончаются. Почему?

— Да потому, что старая жизнь была плохая. Хорошему человеку редко жилось хорошо. Сама посуди, разве на такую барыню, как у Герасима, угодишь?

Октябрина покачала головой и задумалась.

Из класса она вышла последней, медленно спустилась с крыльца. Тут ее ждали Вася и Тося Малыгины.

— Пошли вместе, нам по дороге, — предложил Вася.

* * *

В тот день Октябрина раньше обычного сделала уроки и побежала к Малыгиным.

— Заходи, заходи, сейчас обедать будем, — сказала Тося, подавая ей веник обмести валенки.

Октябрина торопливо размотала пуховый платок, сняла голубое пальтишко с заячьим воротником.

Когда она вошла, Вася даже не поглядел в ее сторону, верно, и не слышал, как дверь стукнула. Он сидел на лавке у окна, уткнувшись в книжку.

— Как пришел из школы, так все и читает, даже разговаривать не хочет, — сказала, подходя, Шура. — Накрывать на стол, Тося?

— Накрывай. А ты кончай, Вася, обедать будем.

— Я сейчас, до главы только...

Пока Шура хлопотала с тарелками и ложками, а Тося доставала чугунок из печи, Вася дочитал до главы, отложил книжку и уселся за стол между семилетним Петей и четырехлетней Лидушкой.

Октябрина обедать не стала. Она села на Васино место у окна и разглядывала всех по очереди. Удивительно, как все они слушаются Тосю. А она, правда, совсем как хозяйка. Вася много рассказывал Октябрине про сестру — видно, гордится ею: вожатая, в шестой группе, и все ребята ее уважают.

Счастливый Вася! Хорошо, когда есть большая сестра, когда много сестер и братьев.

Пообедали, быстро и дружно убрали со стола.

И тут вошла высокая румяная женщина, — или это она с мороза такая румяная?

— Мам, это наша Октябрина! — с гордостью представил гостью Вася. — У нее книжек сколько!

— Так вот какая у Николая Васильича дочка, — сказала Анна Захаровна, приветливо разглядывая светловолосую глазастую девочку. — Я про тебя от моих каждый день слышу.

— Пойдем, — заторопил Вася. — Сейчас мы тебе наш чердак покажем.

На чердаке оказалось просторно и чисто. Октябрину усадили на чурбачок поближе к трубе — тут теплее. Тося со своим шитьем пристроилась у окошка. Октябрина с интересом огляделась: она уже столько слышала про малыгинский чердак. А Шура и Петя тем временем во все глаза разглядывали новую знакомую. И вдруг Петя спросил:

— А почему тебя так смешно зовут?

— Ничего не смешно, — возмутился Вася. — Эх, ты, не смыслишь еще ничего. Это ее в честь Октября так называли. Верно, Октябрина?

— Верно. Раньше ведь детей в церкви крестили, а у меня были не крестины, а октябрины. По-революционному. Мне мама рассказывала. Папа мой тогда еще комсомольцем был. Секретарем райкома комсомола. Собрались все его товарищи, поздравляли. И называли меня Октябриной... Я ведь почти под праздник родилась, четвертого числа.

— Вот здорово! — сказал Вася.

— Хорошо, только длинно очень, — подумав, прибавила Шура. — Тебя и дома так зовут — Октябрина?

— Так и зовут — Октябринка. А можно просто — Ина.

— Вот уж нет! — сказал Вася. — Октябрина лучше.

— Наверно, жалко тебе было из старой школы уходить? — спросила Тося.

— Жалко, конечно.

— Ну ничего, привыкнешь. У нас ребята хорошие, подружишься.

— Райком, райком... — услышала Октябрина еще в сенях.

Она тихо открыла дверь и вошла в комнату. Отец нетерпеливо крутил ручку телефона и даже не улыбнулся ей. «Опять беда какая-нибудь», — подумала она и, стараясь не шуметь, осторожно отодвинула стул и села.

— Райком! Райком! — повторял Николай Васильевич. — Совхоз Калинина вызывает. Срочно! Очень прошу соединить с товарищем Гавриловым. Хорошо, подожду, — он прикрыл трубку ладонью и посмотрел на дочь. — Ты что не раздеваешься?.. Товарищ Гаврилов? — продолжал он в трубку. — Здравствуйте, Смирнов говорит. Вот какое дело: вчера машины новые пришли, а бензина у меня нет. Мало. Да вы поймите, ведь грузы все с железой дороги поступают, а до станции от нас, сами знаете, девяносто километров, и от центрального участка до фермы сорок пять. Нам этого бензину и на неделю не хватит... Да, да, слушаю вас... Понимаю. Но ведь скот прибывает, корма, все возить надо... Нет, товарищ Гаврилов, вы только поймите, в каком мы положении, как это для нас важно, — и, я уверен, бензин найдется. Так... Так... Тогда я часа через два позвоню. Ну есть.

Он положил трубку.

— Ну что, дает? — быстро спросила Октябрина.

— Даст, — уверенно ответил Николай Васильевич. — Сразу не отказал — значит, будем с бензином.

— Пап, а людей прислали?

В совхозе не хватало людей — это было самое главное, самое трудное. Много лет совхоз имени Калинина был зерновым, но огромные поля были запущены и не приносили дохода: в степном Оренбургском крае в начале тридцатых годов урожаи были невелики. В год, когда Николая Васильевича Смирнова назначили директором, а Эрнста Яновича Лацетиса — начальником политотдела, вышло постановление: превратить совхоз в животноводческий. Трудная это была задача: не хватало строительных материалов, не

хватало горючего, машин. Но самое главное — не хватало людей.

Специалисты-полеводы не захотели оставаться в животноводческом совхозе. Кое-кто испугался трудностей. На место малодушных приходили новые люди, но, осмотревшись, увидев, что здесь не разживешься, тоже уходили. Среди них было много раскулаченных, они искали легкой жизни и длинного рубля. Им было все равно, выйдет совхоз из прорыва или нет, ведь это все было чужое — не их поля, не их машины, не их дома. И они работали нехотя, кое-как. В осеннюю распутицу или в сильные морозы отсиживались по баракам, а когда не хватало топлива, жгли в печи табуретки, топчаны, столы, даже двери — все, чем с таким трудом снабжала совхоз его единственная мастерская. Ведь дерево сюда тоже привозили издалека, по железной дороге...

И на нетерпеливый вопрос дочери Николай Васильевич ответил:

— Нет, дочура, людей пока не прислали. Надо справляться своими силами... Ну, раздевайся да соберай на стол — сейчас мама придет. Давай портфель, я на этажерку положу. Что это он у тебя какой тяжелый? Ну-ка, проверим, что у тебя тут лишнее.

Октябрина неохотно открыла портфель, и отец стал его разгружать.

— Ну, для чего тебе сразу столько книг? Учебники и тетрадки сколько места занимают, а ты еще и Тургенева с собой таскаешь, и Чехова, и «Детей капитана Гранта». А это что? «Вокруг света на аэроплане»... Куда тебе все это сразу? Ведь читаешь ты одну?

— Одну, — смущенно ответила Октябрина.

— А остальные зачем?

Молчит Октябрина. Зачем? Ну как объяснить? Хочется прочесть все сразу. Ни с одной



не хочется расстаться. Дойдет же очередь и до них! А пока — пока она по нескольку раз на день достает каждую из портфеля, погладит по переплету — и снова спрячет. Но все-таки... Наверно, прав отец — зачем одному человеку сразу столько книг?

* * *

— Скоро, наверно, Васька и твои все книжки проглотит, — сказала Октябрине Тося. — Уж и не знаю, что он тогда будет делать.

— Что раньше делал, то и буду. Ходить да выпрашивать у всех.

— Вот была бы у нас библиотека... — мечтательно сказала Тося.

Библиотека? Октябрина задумалась. Хоть и много у нее книг, а тоже почти все уже читаны-перечитаны. И Васе, правда, скоро нечего будет давать. Вот если бы...

— Ребята, — сказала она, — а если мы сами устроим библиотеку?

— А книги откуда возьмем? — спросил Вася.

— Соберем. Сперва в нашей группе, а потом, может, и по всей школе. Надо справляться своими силами. Не только у меня книжки, хоть одна у каждого найдется, а вместе получится много.

— А дадут книги? — спросила Тося.

— Вот еще, конечно, дадут, — сказал Вася. — Что они, несознательные, что ли?

Уговаривать никого не пришлось. По книжке, по две дали все ребята. Всем понравилось, что у них будет настоящая библиотека. Не придется больше бегать по товарищам, выпрашивать, нет ли чего нового почитать. Только Миша Пестов из четвертой группы не захотел расстаться со своей единственной книжкой о Робинзоне Крузо.

— У меня она одна, — объяснял он Васе. — Она старая, трепаная. Начнут сто человек читать — живо раздерут.

— И ничего не раздерут, — сердито сказал Вася. — Вон у Эрнста Яновича какие старые книги,



по листочку рассыпаются. Он их по рассказам делит, каждый рассказ веревочкой перевязывает и всем дает. Понимает, что людям читать хочется. А думаешь, у него хоть один листочек пропал? Он нам вчера сам показывал.

— И потом, что это ты говоришь — у тебя книга одна? — подхватила Октябрина, в упор глядя на Мишу. — Что с того, что одна? И у Сани была одна, и у Любы, и у Степы Кузнецова из вашей группы. А все отдали. Один ты пожалел. Эх ты, Робинзон! Единичник ты, и больше никто.

— Мы делаем общественное дело. Как это? Ага: общественное полезное. Сам Лацетис сказал. Понят-

но? — басом, как всегда в трудные минуты, сказал Вася. — А если непонятно, так и сиди один со своим Робинзоном.

Не сговариваясь, они повернулись и пошли прочь. Миша в полнейшей растерянности поглядел им вслед, повертел в руках своего Робинзона и бросился догонять ребят:

— Вась, Васька... Бери уж... Берите!

* * *

Октябрина сидела на диване, подобрала ноги и облокотившись на валик. Было уже поздно, но так не хотелось отрываться от книги. Зинаида Николаевна уехала на месяц в город, на бухгалтерские курсы. Николай Васильевич, по обыкновению, еще не вернулся домой, и некому было напомнить, что давно пора ложиться.

Далеко за полночь она перевернула последнюю страницу и долго сидела задумавшись, с трудом удерживая слезы. «Джордано Бруно, — думала она. — Джордано Бруно. Ведь он был прав... и все-таки погиб. Сколько людей погибло... умных, смелых...»

Она снова открыла книгу, сразу нашла поразившие ее строки:

«— Вы произносите этот приговор с бóльшим страхом, чем я его выслушиваю, — произнес он.

И, повернувшись спиной к судьям, пошел к двери смелыми шагами, вспугивая эхо под расписным тяжелым потолком.

Но сердце его было охвачено ледяным холодом.

То не была трусость. То была как раз величайшая храбрость, которая состоит не в том, что человек не боится смерти, а в том, что человек, боясь смерти, поступает так, как будто ее не боится.

Всю эту ночь Джордано Бруно дрожал в жестоком ознобе, лежа на своей койке, и слезы текли у него из глаз. Но если бы кто-нибудь явился к нему и опять сказал: «Хочешь спастись от страшной смерти путем отречения?» — Бруно ответил бы:

— Нет!»

Октябрина опустила книгу на колени и невидящими глазами уставилась в окно. Опять книга кончилась плохо. За последнее время Октябрина много читала о великих людях прошлого, и почти всегда все кончалось бедой, горем, смертью. «Почему так? — думала она. — Какие все они были несчастные, одинокие. Как все было несправедливо. Какое плохое было это старое время...»

Она вытянула занемевшие ноги, слезла с дивана и, слегка прихрамывая, подошла к столу. Только теперь заметила, что стекло лампы почернело и в комнате едко пахнет копотью. Привернула фитиль, открыла форточку и выглянула наружу. Резкий ветер хлестнул по лицу, на глазах сразу выступили слезы. Улица лежала тихая, темная, и только окно конторы все еще светилось.

«Наверное, папка с Лацетисом вдвоем сидят, так и не обедали оба. Вот приедет мама, она им задаст».

Днем, занятая своими школьными делами, Октябрина почти не скучала без матери. А вот вечерами ей становилось тоскливо, неудобно. Все в доме по-прежнему: так же тикают часы, ворчит во сне лохматый рыжий Пират, посапывая черным носом, так же завывает в трубе ветер, нагоняя сон, а девочке все чего-то недостает. Все вроде и так, как всегда, да не так.

Затрещал телефон. Октябрина сняла трубку. Звонили с дальней фермы.

— Папа, наверно, в конторе... Не откликаются? Значит, телефон испортился. А что у вас? Он придет, я тогда передам... Горючее кончилось? Да вам же только завезли!.. Мало? Ладно, как придет, сразу передам, не беспокойтесь, Иван Тимофеевич. До свиданья.

И наскоро набросав записку, прислонила ее к лампе: как бы поздно ни вернулся отец, непременно пошарит здесь, на условленном месте. А ей пора ложиться, не то завтра можно и проспать.

На другой день после уроков Октябрина забежала в контору, отвела отца в уголок:

— Пап, ты вчера мою записку нашел?

— Нашел, как же. Спасибо, дочура.

— Что же это у них с горючим? Неужели машины будут стоять?

— Ничего, все улажено. Отправили им горючее. Живи спокойно.

* * *

Ударили морозы. Больше уже не удавалось ребятам засиживаться в школе после уроков, петь, играть, читать вслух.

Зима тридцать третьего — тридцать четвертого года выдалась трудная. Бураны свирепствовали всю. За ночь наметало такие сугробы, что невозможно было выйти из дому. В конторе совхоза дежурили по двое, всю ночь следили, чтоб не завалило дверь, а утром помогали людям выбираться из домов, откапывали тех, кто не мог справиться сам. От мастерской, которая стояла немного на отшибе — совхозная улица обрывалась за полкилометра до нее, — протянули канат к крайнему дому, и люди на ходу держались за него, как за перила, иначе в буран и днем можно было заблудиться.

Автомшины не могли пробиться по дорогам, на станцию за грузами посылали тракторы, но и они застревали в снегу — приходилось то и дело расчищать путь. К одному из тракторов прицепляли платформу с будкой, в будке все время топилась печурка, и трактористы по очереди отогревались около нее. Строительные материалы, горючее, машины прибывали с большим опозданием.

Мороз свирепел с каждым днем, ветер выдувал из домов последнее тепло. Топлива не хватало. В школе ребята сидели синие от холода: мерзнут руки, замерзают чернила в чернильницах, откроешь рот — изо рта пар. И уж, конечно, в такой холод учителя не позволяют оставаться в школе после уроков. Вот и получилось, что кружки, пионерские сборы, вечера — все замерло.

Октябрина не давала отцу покоя.

— Плохо ты заботаешься о школе! Ведь у нас все срывается! И дисциплина стала хуже, и пионерскую работу проводить негде.

— Нету у меня, дочка, дров. И так в школу последнее отдаю. И помещения свободного тоже нет. Сама ведь знаешь, столовую и то расширить пока не можем, рабочим пообедать негде.

— Папка, да ты только пойми, в каком мы положении, как это для нас важно, — и сразу все найдется, — повторяла она слова, не раз слышанные от Николая Васильевича. — Если б ты понимал, что такое пионерская работа, ты бы все для нас нашел!

Николай Васильевич только развел руками. Октябрина нахмурилась, подумала и решительно сказала:

— Знаешь, папка, я еще с Эрнстом Яновичем посоветуюсь.

— Что ж, попробуй! Может, вы там вместе что-нибудь и надумаете, — ответил отец.

* * *

Разные люди приходили к начальнику политотдела в закуток, отгороженный от конторы шаткой переборкой. И когда под вечер на пороге появилась маленькая девочка с большими карими глазами и хрипловатым с мороза голосом спросила:

— Эрнст Янович, я к вам по делу — можно? — он ничуть не удивился.

— Можно. Садись, рассказывай.

Октябрина расстегнула шубейку, покрасневшей от холода рукой поправила примятые платком легкие и словно светящиеся волосы.

Лацетис слушал молча, наклонив крупную, лобастую голову, глядя чуть прищуренными голубыми глазами прямо в горящие глаза девочки. Он всегда был скуп на слова, невысокий коренастый латыш, он умел всякого выслушать внимательно и терпеливо.

Когда Октябрина замолчала, он достал из ящика картонную папку, из папки — большой лист плотной бумаги, испещренный разноцветными значками. Аккуратно разложил на столе, осторожно разгладил широкой ладонью уже потертую на сгибах бумагу —

видно было, что этот лист не залеживается подолгу в ящике.

— Иди сюда.

Октябрина обошла вокруг стола и остановилась рядом с Лацетисом.

— Смотри, Октябрина. Вот это — наше завтра. План совхоза, видишь? Вот наша площадь. Скоро здесь будет клуб. Со сценой, с библиотекой. И с пионерской комнатой. Видишь? Большая комната. Светлая, два окна. Тут у вас и столы, и шкафы, и музыкальные инструменты, и знамя, и горн. Все, что надо.

Октябрина слушала, слушала — и вдруг засмеялась.

— Ты что? — удивился Эрнст Янович.

— Вы так говорите, будто сейчас пришли из этой комнаты.

— Верно. Я уже там побывал.

— И так все и есть, как вы говорите? Столы стоят, и шкафы, и знамя в углу?

— Все будет. Непременно будет. Поверь. Я тебя когда-нибудь обманывал?

Октябрина так замотала головой, что распушившиеся короткие волосы упали ей на глаза.

— Ну вот. Значит, пока верь на слово. Только, чтоб все это было, надо много сделать. Совхоз на ноги поставить. А для этого отстроить все, что здесь закрашено красным цветом. Дома для рабочих. Телятники. Скотные базы. Поняла?

— Поняла, конечно. Так и папа говорит... Эрнст Янович, вы мне расскажите побольше. Вот это что?

И Лацетис стал объяснять ей, что означает каждый цветной кружок и каждый квадратик, что будет построено и в какой срок. Октябрина успокоилась только тогда, когда на плане не осталось ни одного непонятного ей значка. Наконец Лацетис бережно сложил план и спрятал на место.

— Какой же у нас совхоз... — негромко, задумчиво сказала Октябрина.

Она не сказала: будет. Все, о чем она услышала сейчас, было так ясно, словно и она уже побывала в этом завтрашнем дне и видела все собственными

глазами. Все, о чем тревожился отец, его телефонные разговоры с райкомом, с областью, с фермами, его бесчисленные заботы стали ей еще понятнее, ближе. Каким замечательным скоро станет наш совхоз, какой будет клуб, какая отличная пионерская комната!

— Как думаешь, Октябрина, — сказал Лацетис, своими чуть прищуренными голубыми глазами внимательно следивший за всем, что отражалось на лице девочки, — если соберем пионеров, вывесим этот план...

Не дослушав, она изо всех сил закивала головой.

* * *

Ветер уже не режет лицо, от него не выступают на глаза слезы, — он теплый, он пахнет весной. Почернели осевшие, рыхлые сугробы, днем посреди улицы все шире разливаются рябые от ветра лужи, и по ним без руля и без ветрил плавают соломинки, щепки... Во все горло перекликаются воробьи. В такие дни даже на любимом чердаке не усидеть.

Недоделав уроков, Вася прибежал к Октябрине.

— Пойдем скорей! На стройку лес привезли.

На площади уже уложены пирамидами бурые бревна, кое-где с них еще не отвалилась шершавая кора. Подальше стоит грузовик с откинутым бортом, с него сбрасывают длинные, совсем желтые на солнце доски. Одна доска легла косо, почти поперек штабеля, конец ее тяжело повис и вздрагивает, точно хвост огромной рыбыны. Со всех сторон уже сбежались мальчишки и девчонки, все больше мелкота, и над площадью стоит звонкий, веселый гомон. На них поминутно покрикивают, чтобы не вертелись под ногами, — того и гляди зашибет которого-нибудь.

Вася с Октябриной все-таки сунулись поближе к грузовику и чуть не налетели на Лацетиса. Шапка у него сдвинута на затылок, в руках потрепанный блокнот. Разговаривает с шофером. На секунду обернулся, увидел ребят.

392836

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БУК ТО «РБНК»
Тульская областная
научная библиотека

— А, друзья! Вот и лес приехал. Теперь будет и клуб. Помните разговор?

— Помним! Все будет!

Он зашагал своей дорогой, они — к бревнам, где уже, как воробьи, уселись ребята. Не успели толком обсудить, хорош ли лес, хватит ли на все, скоро ли до клуба дело дойдет, откуда ни возьмись — Тося.

Наперебой, в десяток голосов стали докладывать ей, что и как.

— Это все хорошо. Только ты что ж, Василий, сидишь тут, а уроки у тебя не кончены. Пойдем-ка домой.

— Ой, и у меня ведь задачка не решена, — спохватилась Октябрина, подымаясь и ладонями страхилая приставшие к пальто древесные волокна и кусочки коры.

И зашагали втроем посреди улицы. Вася во все горло запел:

По доли-нам и по-о-взго-рьям...

Октябрина подтянула. Они с Васей маршировали, размахивая руками, не разбирая дороги. Октябрина шлепала прямо по лужам, брызги так и летели во все стороны. Тося, которая отстала было от них, ускорила шаг.

— С ума посходили, чертята! Ноги промочите! — Она присмотрелась к Октябрине, спросила строго: — Октябринка, ты что? И расстегнутая вся. Шарф у тебя где? До лета еще далеко. Ты и так слабенькая.

— Потому так и хожу. Не хочу всю жизнь быть слабой. — И видя, что Тося с сомнением покачала головой, Октябрина прибавила убежденно: — Человек должен быть закаленный, понимаешь?

— Беда с тобой! — сказала Тося. — Да разве так закаляются?

* * *

— Октябрина, иди скорей! Кто приехал!.. — зовет под окном запыхавшийся Вася.

— Кто?

— Эрнст Янович из Москвы вернулся. И сына привез!

Вот о ком уже много слышали все ребята в совхозе, кого они давно ждут с нетерпением. Он тоже Эрнст, но отец зовет его Энчик. Ему уже минуло четырнадцать, он перешел в восьмую группу. Этой зимой в клубе завода «Каучук» один из московских гроссмейстеров давал сеанс одновременной игры на шестнадцати досках, и Энчик свел партию с ним вничью.

Вечером на крыльце у Лацетисов собралась молодежь. Энчик рассказывал о Москве, о том, как строят в столице метро, о том, как встречали челюскинцев и их спасителей-летчиков — славную семерку первых Героев Советского Союза.

Потом заговорил Эрнст Янович. Он рассказывал о спектакле, который они смотрели в Москве, в Художественном театре. О китайце Син Бин-у, который по доброй воле лег на рельсы, чтобы помочь своим товарищам партизанам захватить бронепоезд белых. О скромном и бесстрашном большевике Пеклеванове — председателе подпольного ревкома, — о человеке, который погиб во имя торжества справедливости и счастья людей.

Когда Лацетис кончил, на крыльце все долго сидели молча, не шевелясь.

— Вот люди! — негромко произнес, наконец, молодой паренек, новый тракторист.

— Пеклеванов этот... вроде и не силен человек, а ведь герой, — сказал суровый Анисим Коряга.

— Да-а... — задумчиво протянул еще кто-то, не различимый в темноте.

И вдруг раздался взволнованный детский голос:

— Как же так? В старое время всегда самые хорошие люди погибали — и опять самые хорошие погибли! И Пеклеванов и Син Бин-у... — В голосе Октябрины зазвенели слезы, она не договорила.

— Это же ради революции, — строго сказал Энчик. — Они погибли, да ведь не зря! А Ленин разве умер?

— Верно, — отозвался кто-то. — Ленин — он на веки веков живой.

— Вот ты смотри! — снова горячо заговорил Энчик. — В Германии второй год Гитлер хозяйничает.

Сколько там лучших людей гибнет. Хорошо, мы Димитрова вызволили. А еще будет ли жив Тельман — никому не известно. А если б такие люди во всем мире на смерть не шли, тогда что?

— И революции бы у нас не было, — откликнулся кто-то.

— Тогда и надеяться бы не на что, — поддержал тракторист.

— Такие люди не умирают! — с глубоким убеждением сказал Энчик.

И так же убежденно подтвердил из темноты Анисим:

— Для таких людей еще смерти не придумано.

Потом все разошлись, Энчик с трактористом Сергеем засели за шахматы. Эрнст Янович поглядел на них, поглядел — и пошел к Смирновым.

— Что это вы какой грустный? — спросила Зинаида Николаевна, наливая гостю чай покрепче.

— Не грустный. Так это. Отбирает молодежь у меня сына. Боюсь — и не увижу его.

— Да будет вам, Эрнст Янович. Что вы все, отцы, какие собственники! Надо же мальчику с ребятами побыть.

— У вас дочка по целым дням из дому пропадает — вам приятно?

— Какой же матери это приятно. Только у своей юбки разве удержишь? Им до всего дело.

— Так, Зинаида Николаевна, верно. Все-таки вам еще хорошо: дочка при вас. А мне как? Лучшее у меня время, когда сын со мной. С осени о лете мечтать начинаю.

— Не горюй, Эрнст Янович, зато парень какой у тебя растет, — вступил в разговор Николай Васильевич. — Орел!

— Ну, орел — это много, — усмехнулся Лацетис. — Пока просто бойкий петушок.

Зинаида Николаевна с доброй улыбкой погрозила ему пальцем:

— Будет вам скромничать. Сам гордится сыном больше всего на свете, а туда же...

— Нет, Эрнст Янович, я тебе серьезно говорю — орлиное племя растет.

Николай Васильевич облокотился на стол, крепко — пальцы в пальцы — сжал большие, потемневшие от металла руки. Не так-то часто директора совхоза можно застать в конторе, над бумагами: если он не на ферме, не в поле, так уж, наверно, в мастерской, где в эту пору всего нужнее и хозяйский глаз и смолоду не забытое умение владеть всяким инструментом, управляться со всякой машиной. Все в совхозе знают — и механик не сумеет, как Николай Васильевич, обуздать норовистый мотор... И в такую минуту вот так же оживится это худощавое лицо с высоким лбом в преждевременных морщинах, блеснут мальчишеским голубым огоньком глаза.

Зинаида Николаевна вопросительно и ласково смотрит на мужа. Глаза блестят, волнуется — что это с ним?

— Вот я иной раз думаю, — продолжает Николай Васильевич, — дети наши, наследники, надежда наша... что у них впереди? Мы с тобой целину поднимали, им пахать и сеять. Нам не легко приходилось, да ведь и их мы не для легкой жизни растим.

— Легко не скоро будет.

— Вот я и говорю, ведь им доводить все до конца: и ломку, и борьбу, и стройку. Им и воевать, если придется.

— Ничего, Николай Васильевич. Хорошая смена подрастает. Справятся.

— Какими же им и расти? — задумчиво говорит Зинаида Николаевна. — Помнишь, отец, как дочкины октябрины справляли? Она еще в колыбели лежала, а наши комсомольцы ей какой наказ давали — век этого не забыть... Справятся наши дети, со всем справятся, грешно и сомневаться... Только подумать страшно, сколько им еще сил и трудов класть. А уж если война...

— Нет, а я им завидую! — горячо говорит Николай Васильевич.

— Пока что сын мне завидует, — снова усмехается Лацетис. — Говорит, опоздал родиться, революцию без него делали.

— А на его долю ничего не осталось? — подхватил Николай Васильевич. — Ах, чудак!

— Это они потом поймут. А если поглядеть: кто нам с тобой первая опора? Комсомольцы.

— Ну, еще бы. Да что; пионеры и те во всякое дело встречаются. Подумать смешно: мелкота, а ведь помощники. Что ни возьми — субботник перед севом, или вот сусликов надо бить, или за телятами ходить, или, возьми, на конюшне — всюду они.

— До всего им дело, — вставила Зинаида Николаевна. — Ведь Октябринка со своими дружками все ваши заботы наизусть знает.

— Таким воздухом дышат. Знаешь, Николай Васильевич, вот я тут видел. В «Комсомольской правде» страница: как деревенским ребятам помогать по животноводству. Целая страница в газете, а вверху вот такими буквами: ОБЕСПЕЧИМ ТЕЛЕНКУ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!

И, откинув голову, Лацетис громко, заразительно рассмеялся, что с ним бывало не часто.

— Как, как ты сказал? Теленку счастливое детство? Ох, умора! — сквозь смех переспрашивал Николай Васильевич.

— У них у самих детство не очень-то счастливое, — тоже посмеявшись, вздохнула Зинаида Николаевна. — Вон какая трудная зима была! Сколько в школе мерзли, как с учебниками бьются. Да мало ли...

— Нет, мать, не говори. Баловать их, конечно, не приходится. А все равно детство у них счастливое.

— Верно, — сказал Лацетис. — Ну, Зинаида Николаевна, хоть вы осудили, что я собственник, хочу со своим счастливцем немного побыть. Поеду завтра на вторую ферму, возьму его с собой.

Неделю пробыл Энчик с отцом на дальней ферме.

— Я с удовольствием, — сказал он, когда отец предложил поехать вместе. — Только, знаешь, я не дачник. Все будут работать, а я что?

— Найдется работа. Газеты людям почитай, про Москву расскажи.

И он читал, рассказывал, отвечал на вопросы. Бывали такие, что сразу и не ответишь, приходилось откладывать на завтра и поздней ночью, дождавшись отца, спрашивать у него совета. Не заметил, как она и прошла, эта неделя.

Возвращались в жаркий, безоблачный день. Еще издали увидели на большом, оставленном под пар поле необычное оживление.

— Что это там? — удивился Энчик. — Одни ребята работают? И водовозная бочка зачем-то...

— А, понятно. Николай Васильевич мобилизовал школьников — с сусликами воюют. До уборочной хотя бы пар от них очистить. Совсем заели.

— Пойду погляжу, — сказал Энчик.

— Иди. Только не забудь, комсомольцы выпускают «молнию» о доярках. А у нас один мастер заголовки писать — Вася Малыгин, его и ребята и взрослые на части рвут.

— Нет, нет, я помню.

Эрнст Янович постучал по крыше кабины, шофер притормозил, и Энчик легко перескочил через борт грузовика.

На поле шел ожесточенный бой. Растянувшись цепью, кто с ведром, кто с ковшом, кто с кружкой в руках, ребята осматривали каждый малый бугорок, каждую кочку и, обнаружив сусличью норку, заливали ее водой. Из норы выскакивал мокрый, ошарашенный суслик, его хватали за шиворот и — в мешок.

Наступление шло непрерывно, азартно. Небольшая сивая кобылка, которую погонял знаменитый на всю школу лошатник — двенадцатилетний Демид Коряга, брат конюха Анисима, едва поспевала со своей бочкой от одного фланга к другому.

Энцик подошел в ту самую минуту, когда Октябрина захлопнула в мешке очередную жертву и выпрямилась.

— А потом что с ними будете делать? — спросил Энцик.

— В контору сдадим, — ответило сразу несколько голосов.

— Живых?

— Их без нас перебьют, — солидно, басом объяснил Вася Малыгин. — Наше дело — изловить.

— И не жалко тебе? — спросил Энцик, глядя, как Октябрина деловито встряхивает мешок, словно проверяя, есть ли там еще место. — Я думал, ты добрая.

— Вот еще, жалеть их, — проворчал Вася. — Николай Васильич говорил, один суслик пуд зерна жрет.

Октябрина с недоумением посмотрела на Энцика.

— Они же вредители... Ну, пошли дальше! — скомандовала она, заметив, что их с Энциком уже обступили ребята.

И бой разгорелся с новой силой.

Энцик шагал прочь по неровному полю. Сухие комья земли рассыпались в пыль под ногами, короткая черная тень, точно мяч, катилась перед ним, полуденное солнце жгло затылок, плечи. Неплохо бы сейчас искупаться. На лодке пройтись.

Он вздохнул. Придется с этим подождать. Мелкота и та с сусликами воует. Нет уж, сперва «молния», потом река.

«Молния» должна была рассказать всему совхозу об успехах лучших доярок — Жимал Уразовой и Анны Захаровны Малыгиной.

Энцик зашел в школу. Пусто. Лишь из-за двери с надписью «4-я группа» слышались негромкие голоса. Он заглянул туда. Над учительским столом, над большим листом бумаги он увидел три тесно сдвинутые беловолосые головы: одну — знакомую, чубатую — Серегину, другую — аккуратную, с прямыми волосами, прихваченными ядовито-зеленой гребенкой, третью — мальчишечью, круглую и щетинистую. Редакторы комсомольской «молнии» и Вася Малыгин совещались, как лучше разместить строчки.



— Да ладно, и так хорошо, — торопил Вася. Ему не терпелось поскорее самыми большими буквами выписать на этом листе мамину славу.

Дверь, приоткрытая Энчиком, скрипнула, и все трое оглянулись.

— А, художник пришел, — обрадовался Серега. — Погляди, что мы тут написали.

Энчик прочел «молнию». В минуту разложил на столе все по-своему, проверил краски, единственный пузырек с красной тушью, сполоснул кисть в жестянке с водой. Скомандовал Васе:

— Вылей эту, притащи свежей.

Следующий час в этой комнате почти не разговаривали. С уважением смотрели оба редактора «молнии» и главный совхозный мастер по заголовкам, как под рукою Энчика на большом листе бумаги разгорается заря, восходит солнце, на фоне розовеющего неба движется могучий трактор и встают одна за дру-

гой ровные, прямые, красивые буквы. Недаром Энчик из года в год бессменно работал в школьной стенгазете, недаром он собирался стать архитектором.

* * *

Вот и опять зима.

— Теперь мороз надолго стал! — старалась Тося перекричать ветер.

Ветер рвал из рук сумки с книгами, гремел листами железа, сваленными у мастерской, гнал по дороге мелкий колючий снег.

Они пробирались гуськом по узкому снежному ущелью — сугробы намело уже выше человеческого роста. Но они не спасали от ветра, он дул в лицо, толкал в спину, едва не сбивал с ног. Октябрина спотыкалась, напрягала все силы, чтобы не упасть.

Были уже сумерки. Этой зимой и Октябрина с Васей и Тося учились во вторую смену.

— Ну, довели тебя до дому, — сказала Тося. — Беги грейся.

— Вот это ветер! — крикнула в ответ Октябрина. — Я бы еще вас проводила, да мама будет беспокоиться.

— Что хорошего по такому ветру гулять, будь он неладен.

— А мне все равно нравится, — блестя глазами, сказала Октябрина. — Я бы, знаете, что хотела? Попасть в буран. В настоящий!

— Ишь, чего захотела, — усмехнулся Вася.

Тося пожала плечами:

— Да что ты. И посильнее тебя люди бурана опасаются. Это не всякий здоровый мужик выдержит. А ты у нас вон какая, того и гляди переломишься.

— Закалюсь и выдержу. Раз захочу, значит выдержу. Если сильно захочешь, всего добьешься!

Тося мысленно выругала себя — опять она неосторожно задела больное место подруги! Она ведь уже давно поняла, почему Октябрина, выходя из дому, разматывает шарф, расстегивает пальто, а в мокрую погоду топает прямиком по лужам, вместо того чтобы обойти их. И Тося сказала примирительно:

— Ну ладно, Октябринка, до завтра.

— До завтра, — повторила Октябрина. — Если ветер стихнет, пойдем с утра на реку, хоть полчаса покатаемся. Я за тобой забегу.

— На коньках? А ты разве умеешь? — поразился Вася.

Октябрина только улыбнулась и скрылась в доме, махнув рукой на прощанье.

— Да разве она умеет на коньках? — переспросил Вася.

— А как же! — ответила Тося, улыбаясь той же загадочной улыбкой, что и Октябрина.

Вася недоверчиво поглядел на сестру. Прошлой зимой он несколько раз видел, как Октябрина пыталась стать на лед. Сам он хорошо бегал на коньках и пробовал взять ее на буксир, но скоро пришлось поневоле махнуть рукой: поминутно она спотыкалась, падала, вся как есть вывалилась в снег. Ноги ничем ее не слушались. Вася так прямо и сказал ей: ты это дело брось, ничего у тебя не выйдет, только зря время терять да синяки сажать.

Она тогда ничего не ответила ему, только поглядела из-под бровей и, прихрамывая, отошла в сторону. Ладно, завтра он пойдет с ними и посмотрит собственными глазами.

Но наутро мать велела перебрать картошку, они с Тосей полезли в подпол, и Октябрина ушла на реку одна.

В поселке ветер почти не чувствовался, но на реке он еще хозяйничал всюю. Октябрина прикрутила к валенкам коньки и решительно спустилась на лед. Лед лежал гладкий, чистый, лишь слегка припорошенный только что выпавшим снегом. Октябрина попробовала двинуться против ветра, но он не пускал. Тогда она повернулась и понеслась в противоположную сторону, точно парусная лодка, подгоняемая ветром.

Коньки были хорошо наточены, валенки крепко, удобно охватывали ногу, ветер обнимал за плечи, пел в ушах. И Октябрине тоже хотелось петь, смеяться. Вот и научилась! Не зря время тратила, не

зря синяки сажала. Перед глазами встало озадаченное Васино лицо. Октябрина засмеялась. Поглядел бы он сейчас на нее!

Вот и поворот, а за ним Чеботаревка. Знакомый высокий берег. С берега сбегает тропинка, к нему намело снегу. «Здорово, — подумала Октябрина. — Уже два километра!»

Но тут под ногами затрещало, твердый, надежный лед ушел куда-то, и девочка стала быстро погружаться в воду.

...Напрасно прождав Октябрину около раздевалки до самого звонка, Тося, не на шутку встревоженная, побежала в класс. Она невнимательно слушала учителя, то и дело смотрела в окно и, едва кончился урок, кинулась в учительскую. Там уже Зинаида Николаевна — растерянная, испуганная — разговаривала с такой же растерянной Натальей Александровной.

— Что с Октябринкой? — с порога спросила Тося.

— Да разве вы не вместе на коньках ходили? — ахнула Зинаида Николаевна.

— Она одна ушла, — чуть слышно вымолвила Тося.

Вместе с Зинаидой Николаевной она выбежала из учительской, на ходу оделась и самой короткой дорогой помчалась к реке. Зинаида Николаевна кинулась в контору за мужем.

На реке было тихо, пустынно, лед присыпан свежим снежком. Ветер давно стих, но снег все еще падал — мирный, пушистый, он покрывал все. И сколько ни вглядывалась Тося — нигде никаких следов.

Вдруг далеко впереди, на дороге, что изгибалась вдоль берега, показались сани. Тося побежала навстречу.

— Дедушка, девочку такую не встречали, в голубой шубке?

Старик в санях оживленно закивал:

— У нас она, в Чеботаревке. В крайней избе спроси. Она там у Петровны на печи сидит. Парнишка Петровнин уж давно в совхоз побежал сказать, что

жива, мол, Николай Васильича дочка. Ничего ей не сделалось.

И в это время Тося услышала за спиной фырганье совхозного «газика». Обернулась и увидела Николая Васильевича рядом с шофером; из-за его плеча выглянуло взволнованное лицо Зинаиды Николаевны:

— За ней едем. В проруби искупалась, ты только подумай!

...В избе у Петровны было жарко натоплено, пахло горячим молоком, медом. Когда Смирновы вошли в избу, сама хозяйка уже в третий раз рассказывала набежавшим соседкам, как девочка выбралась из проруби.

— Подумать надо, на коньках бежала да прямо у нас тут, под бережком, в прорубь и угодила. Снегом присыпано, не видать издали. Другая тут бы и ко дну — легкое ли дело: в шубе, в валенках, да к валенкам коньки эти привернуты. А она, смотри ты, сообразила — руки растопырила да так и зацепилась. Повисла, значит. По пояс все-таки окунулась. И ведь не кричала, не звала, такая характерная. Сама вылезла, уж и не знаю как. Подумать надо, вымокла вся, руки заледенели, а валенки стащила и в одних чулках бегом в гору — да прямо к моей двери. Я-то слышу, кто-то стучит часто-часто. Выглянула — батюшки мои! Спасибо, малый мой дома случился. Мы с ним вдвоем ее на руки, да в горницу, да все с нее мокрое, ледяное долой. Я давай ее растирать, давай кутать, медом поить. Потом уж хватилась, спрашиваю: откуда такая, чья? Смирнова, директора дочка. Ну, малый скорей ходу в совхоз. Подумать надо, родители небось с ума сходят — не то ее баграми из-подо льда ловить, не то по ней слезы лить. А она — вот она, жива, целехонька.

Октябрина лежала на печи. Ей было тепло, уютно, глаза слипались. Только обрывки разговора долетали до ее слуха, и ей казалось, что это все и не о ней. Она уже не помнила, как в первые минуты рассказала испуганной Петровне, откуда она взялась, не помнила, как у нее под ногами провалился лед и как

она потом долго цеплялась за скользкие края про-
руби. Встревоженные и обрадованные лица отца
и матери, склонившиеся над нею, виделись ей словно
во сне.

* * *

Час был поздний, но Октябрина все не ложилась.
Наконец — знакомые шаги в сенях. Быстро вошел
отец. И лицо у него такое... Значит правда: случилась
беда. Правду сказала утром Жимал. Она прибежала
по морозу простоволосая, вся в слезах. То, что она
сказала, было невозможно, страшно. И все-таки, зна-
чит, это правда!

— Дай, Зина, поесть. Скоро опять пойду. А ты,
дочка, ложилась бы спать.

— Не хочу я...

Да разве после того, что случилось, можно есть,
спать, заниматься своими обычными делами?

— Ложись, ложись, — каким-то чужим, безучаст-
ным голосом сказал отец и зашагал по комнате из
угла в угол. Стало тихо. Только скрипят половицы.

— Папа, — жалобно позвала Октябрина, не в си-
лах больше выносить это тяжелое молчание.

— Да?

— Неужели и Зорька и Коммунарка... — начала
она и запнулась.

Николай Васильевич быстрее зашагал по комнате:

— Коммунарку отходили, а Зорьку не удалось.

— Как же так! Отравили! Зачем?!

— Вредительство, — убежденно сказал Николай
Васильевич.

— Ты уж расскажи все толком, отец, а то чего-
чего мы не наслушались за день, — попросила Зи-
наида Николаевна.

— Малыгина пришла утром раньше всех, смот-
рит — ее Коммунарка в корчах бьется. Что такое?
Стала осматривать, отпаивать. У коровы изо рта —
пена. Малыгина сразу почуяла неладное. Кинулась
по всему ряду — другие коровы в порядке. Добежала
до Зорьки, а та уже при последнем издыхании.

— Кто же это дежурил?

— Старуха Фетинья. Прospала нашу Зорьку.

— Жимал так плачет над Зорькой, так убивается, — сказала Зинаида Николаевна. — Беда-то какая. Ведь лучшие коровы. Рекордистки наши...

— Халатностью это не объяснишь, — продолжал Николай Васильевич, словно споря с кем-то. — Нет, тут дело ясное. В корм чего-то подсыпали.

И снова — от окна к печке, от печки к окну. Скрипят половицы.

А Октябрина не слышит ни его слов, ни этого скрипа. Слово злой буря ворвался в комнату, больно хлестнул по лицу, насквозь пронизал холодом. Девочка вся сжалась на своем диване. Холодно!

Она всегда думала, что когда смотришь человеку в лицо, сразу видно, хороший он или плохой, свой или чужой, друг или враг. Кто же отравил? Ведь в совхозе она знает всех.

— Кто отравил? — повторяет она вслух.

— Манефа Битюгова, — отвечает отец.

— Телятница?! Федора нашего сестра?!

— То-то и оно, что оказался не наш. Оба они зверье. Кулачьи души.

И опять ничего не слышит Октябрина. Съежилась в углу дивана и думает, думает. Горько ей, трудно. Она ведь знает обоих. Федор, механик... Весной, на субботнике, он и папка вдвоем чинили старый «фордзон». Вокруг Федора всегда вертелись мальчишки, и он не гонял их, — объяснял все, что ни спросишь: про каждую гайку, про каждый винтик. А Манефа? Она много старше Федора, с виду неприветливая, никогда не улыбнется. Но ведь с утра до ночи с телятами нянчилась. И когда прошлой весной пионеры решили помогать телятницам, Манефа первая отдала им на попечение двух своих телят и растолковала, как за ними ходить. И даже почти не ворчала, когда, бывало, ошибешься и что-нибудь сделаешь не так.

— Как же это? Как она могла?..

Под окном зафыркал мотор, замерзшие окна на секунду заискрились под лучами фар — из района приехала комиссия. Отец, не попадая в рукава полу-

шубка, поспешно вышел. Октябрина слышала, как захлопнулась дверца машины.

— Ложись, дочура, — негромко сказала Зинаида Николаевна, подходя к дивану. Провела рукой по волосам дочери, по щеке, с тревогой вгляделась в лицо: за один день побледнела Октябрина, осунулась.

Пришлось лечь. Мама еще походила немного по комнате, потом задула лампу. Но сон не шел.

Как же так, как же так? Значит, не все те хорошие, которые кажутся хорошими. Как же отличить плохих? Как понять?

В этот час она впервые задумалась над тем, как сложна жизнь, сколько в ней темного, запутанного, впервые задумалась над тем, что так трудно и горько понять человеку.

* * *

В школу пришло письмо от Энцика Лацетиса.

«На будущий год опять к вам приеду, — писал Энчик. — Погуляем, поплаваем, на лодке походим. А пока посылаю для вашей библиотеки книги о походе «Челюскина» и о том, как наши летчики сняли челюскинцев со льда».

Скоро пришли и книги — три толстых серых тома. Октябрина раскрыла самый последний — и так и просидела над ним до поздней ночи, насилу Зинаида Николаевна прогнала ее спать. Но где уж тут было уснуть...

Какие необыкновенные люди — летчики! Все они могут, ничего им не страшно. Ни льды, ни пурга, ни ночь, ни туман. Сколько народу спасли! И какое это чудо — самолет...

И вот уже Октябрина с Васей и с Энчиком стоят на огромной белой льдине, под ногами что-то трещит, и со всех сторон с треском налезает такие же огромные зубастые льдины.

Но им не страшно: над головой кружит большая серебряная птица с красными звездами на крыльях, и сам Молоков высунулся из кабины и машет им пушистой меховой рукавицей... Нет, она сама уже не на

льдине, а в самолете. Это она, Октябрина, прилетела на выручку друзьям. Хорошо быть летчиком!

«Хорошо быть летчиком!» — без конца повторяли ребята. Теперь каждую свободную минуту они по очереди читали вслух про челюскинцев рассказ за рассказом. А уж последний том, рассказы летчиков, знали чуть не наизусть и все-таки перечитывали снова и снова. Вот это люди! Счастливые! Нет, лучше летчиков никого нет на свете!

* * *

А все-таки быстро прошла эта зима! Много нового было в школе: вместо групп — классы, а у Октябрины и ее друзей классы особенные. Шутка ли: они с Васей — в четвертом, Тося — в седьмом, весной — первые в жизни экзамены! Немало было и страхов, что ни день — Октябрина бежит к Малыгиным, или Вася — к ней, проверяют друг друга, учат наизусть басни, стихи, вместе разбираются в трудном правиле, в заковыристой задачке. Разлились, отжурчали и высохли весенние ручьи на совхозной улице, пробились на каждом незатоптанном, неукатанном клочке земли острые зеленые иглы молодой травы, а ребятам и побегать некогда, и на малыгинском чердаке они давно уже не собирались: экзамены!

Но вот прошли и они. Все хорошо: и у Тоси и у Октябрины — кругом отлично, и во всем Октябринином звене все отметки хорошие и отличные, только у Васи одна «удочка» — по русскому письменному. Ну, теперь все это позади.

В конце июня Эрнст Янович получил телеграмму от сына и вечером заглянул к Смирновым:

— Ну, Октябрина, завтра жди гостей. Энцик приезжает, и не один, а с Толей Осениным.

Осенин был новый работник политотдела. Семья его еще жила в Москве, но ребята уже знали, что Анатолий — их сверстник и на лето приедет к отцу.

...За окном протяжно, с переливами играет пастуший рожок, негромко, словно не совсем еще проснув-

шись, мычат коровы. Где-то хлопнула калитка, гро-
мыхнуло ведро.

«Рано еще, — спросонок подумала Октябрина, не открывая глаз. — Мама только встает... — и вдруг вскочила: — Москвичи приезжают! Надо встречать!»

Они с Тосей вышли, едва взошло солнце. Было прохладно от росы, небо на западе — в мелких барашках. Ветер — тоже еще сонный — изредка лениво трогал волосы. Степь раскинулась во все стороны, не было ей ни конца ни края, и высокое, просторное небо светлело над нею. Стебли трав подымались до колен, пушистые метелки ковыля мягко щекотали загоревшую с весны кожу. Во все глаза смотрели на Октябрину ромашки, круглые снежные головки одуванчиков облетали, едва она наклонялась к ним, ярко разгорались в траве золотые лютики и алые пятилучевые гвоздики. И все это тянулось к рукам и пахло сладко ипряно — тем сильнее, чем выше поднималось солнце. Как-то незаметно девочки разошлись в разные стороны, все реже окликали друг друга. Давно высохла роса под ногами, спина устала наклоняться, рукам уже не удержать огромную душистую охапку. Октябрина остановилась, подумала минуту, потом осторожно положила цветы на траву и сама легла, вытянулась во весь рост, закинула руки под голову. Как хорошо! Солнце совсем высоко — она не думала, что они так долго ходили, не чувствовала усталости, а теперь тихонько ноют руки, ноги, все тело. Но это даже приятно — вот так устать и вытянуться в траве, и лежать, не двигаясь, и слушать, как дышит, и звенит, и шепчется степь, и глядеться в высокое, чистое небо... а закроешь глаза — и розовые теплые волны катятся под веками, и солнце легкими пальцами гладит щеки.

Хорошо! Все хорошо — цветы, степь, лето. Какое оно большое, это лето. Уже давно началось, и конца ему не видно. Может, всегда будут вот такие синие, солнечные дни? Хорошо. А лучше всего... Что лучше всего на свете? Не знаю. Просто хорошо жить. Интересно. Почему мне хорошо? Не знаю. Нет, знаю.

Потому, что у меня друзья. Хорошо, когда много друзей. Это, наверно, лучше всего..

— Октябрин-ка!

Голос Тоси. Октябрина открывает глаза. Что же это, сколько времени она пролежала, позабыв обо всем на свете? Она вскакивает, подбирает с земли чуть поникшие цветы. Тося идет к ней с такой же большой пестрой охапкой, еще издали с упреком качает головой:

— Что ж ты? Я зову, зову... Уснула ты, что ли?

— Просто я задумалась, — виновато отвечает Октябрина. — Бежим скорей.

Пошли даже не разговаривая, чтоб быстрее. Поднялись на пригорок, откуда хорошо видна дорога, переходящая в прямую, широкую улицу совхоза. И тут по дороге, оставляя за собою кудрявый хвост пыли, пронеслась знакомая, недавно выкрашенная в зеленый цвет машина.

— Наша полупорка грузы со станции привезла! — с досадой воскликнула Тося. — Значит, и ребята с нею. Эх, мы... встретили, называется!

* * *

В дверь постучали. Октябрина даже не оглянулась, наоборот, еще ниже склонилась над книжкой. Вот уже два часа, как она вернулась домой мрачная, молчаливая и уткнулась в книжку. Но ей не читалось...

— Войдите! — крикнула Зинаида Николаевна. — Кто там? О, какой гость! Здравствуй, здравствуй, давно ждем! Как вырос!

Энцик! Октябрина обернулась, вскочила. Лицо у нее растерянное, глаза совсем круглые. Энцик засмеялся:

— Что это ты какая?

— Да ведь она ни свет ни заря поднялась, — тоже с улыбкой стала объяснять Зинаида Николаевна. — В степь они с Тосей ходили, да застряли там. Вот, посмотри...

В белом кувшине стоял огромный букет. Клонии-

лись пушистые метелки степных трав, во все глаза смотрели на Энцика ромашки, ярко разгорались золотые лютики и алые пятилучевые гвоздики. И все это пахло сладко и пряно — степным солнцем, летней волей.

— Видишь, для вас насобирали, а встретить не встретили. Так она до того расстроилась, пришла да и бросила их на стол. Я уж сама в воду поставила.

Октябрина только улыбнулась неловко — досада ее еще не прошла. Ну их, эти цветы, лучше бы уж за ними и не ходить.

— Здравствуй все-таки, — весело сказал Энцик и протянул руку.

— Здравствуй... Ой, ну тебя! — она поморщилась, подула на пальцы.

— Что, опять силенки не хватает?

— Вот еще. Просто палец за палец зашел.

— Ах, палец за палец..

— Да ну тебя, Энцик. Что ты меня как маленькую дразнишь.

— Не сердись, Октябринка. Я же шучу. Пошли, с Анатолием познакомишься, на реку ходим.

Но Толи дома не оказалось: должно быть, ушел куда-то с отцом, и они отправились на реку одни.

Сколько раз в Москве, готовясь к экзаменам, Энцик на минуту закрывал глаза и снова, как прошлым летом, видел себя на реке. Широкая и спокойная, как сама степь, она неторопливо покачивает на своих волнах отражения облаков. Вот он сидит в лодке, приподняв весла, отдаваясь течению, и река несет его, несет... А потом — взмах весел, и лодка мчится во весь дух, легкая, послушная. Сколько он мечтал об этом! И, наконец, вот она, река! У него даже немного дрожали руки, не сразу удалось вставить весла в уключины и отвязать лодку.

— Энцик, ты скоро? — Октябрина уже давно сидела в своей лодке и ждала. Сейчас посмотрим, так ли он легко ее обгонит в этом году.

— Готов!

Две небольшие легкие лодки одновременно вынеслись на середину реки.

Среди совхозных ребят, своих сверстников, Октябрина была не последним гребцом, прошлым летом они долгие часы проводили на реке, и сам Энчик признавал, что для своих лет она не так плохо управляется с лодкой. Но, конечно, куда ей было тягаться с ним. А потягаться хотелось! И в это лето она много гребла, она очень ждала того дня, когда они вместе придут на реку. Неужели она всерьез надеялась, что сумеет обогнать сильного, рослого Энчика? Видно, надеялась.

А Энчик... Энчик в эти минуты просто забыл о ней. Дождался! Вот она, река! Кажется, не веслом, а собственной ладонью рассекает Энчик упругую толщу воды, отталкивается от нее легким, счастливым напряжением всех мускулов — и лодка летит, летит...

Вот и знакомое место, куда они так часто заплывали прошлым летом: берега раздались еще шире,



и по правую руку — заросли желтых кувшинок. Энчик сворачивает прямо в заросли, о нос лодки с мягким шелестом трутся широкие гладкие листья. И тут как-то совсем нечаянно он видит далеко на воде другую лодку и в лодке одинокую фигурку. Октябрина! Как же он забыл? Стыд жаром обдаёт ему щеки. Какие уж тут кувшинки! Энчик круто поворачивает лодку, едва не черпнув бортом, и мчится ей навстречу. Вот уже совсем близко он видит лицо Октябрины — какая она красная, брови нахмурила, губу прикусила, гребет, не поднимая глаз.

— Октябринка!

Вот и подняла глаза. Сразу видно, здорово устала.

— Поворачиваем, Октябринка.

Она повернула. Пошли борт о борт, почти не шевеля веслами: течение само несет лодку, теперь можно и отдохнуть.

— Ох, устал! — громко отдувается Энчик.

Октябрина смотрит на него исподлобья: как же, устал. Какой хитрый, это он, чтоб ей не так обидно было. А все равно обидно.

— Ты в Москве тренировался?

— Когда уж там...

— А я уже целый месяц тренируюсь. И все равно вон как отстала...

— Ну, послушай, Октябринка, что ж ты огорчаешься? Все-таки я на сколько тебя старше. Ну и сильнее...

— Но ведь я как стараюсь, я тоже ведь хочу быть сильной. А теперь как же? За что ни возьмусь — не выходит. И бегаю хуже всех...

Энчик подвел свою лодку совсем близко, взялся рукой за нагретый солнцем, чуть шершавый борт Октябриной лодки. Доска была теплая, точно живая.

— Ничего, Октябринка. Главное, человек ты упорный. А остальное приложится!

На берегу уже ждали ребята. Октябрина тотчас заметила среди них незнакомого мальчика в белой

майке: довольно высокий, круглолицый, каштановые волосы смешно торчат во все стороны, и брови густые, тоже какие-то встрепанные. Нос что-то уж очень вздернут, руки — в брюки, и вообще похоже, что этот Толя Осенин (конечно, это он и есть) чересчур задается. Почему она сразу так решила, Октябрина и сама не знала. Но он сейчас же утвердил ее в этом подозрении.

— Эрнст, ты что ж это запропал? — сказал он громко и как-то так, словно никого, кроме него и Энцика, здесь и не было.

«Эрнст»! Подумаешь! Вот Энчик и правда большой, а ничего из себя не строит.

— Да вот прошлись с Октябриной на веслах, — спокойно ответил Энчик, выходя на берег. — Привет, ребята! Здравствуйте, кого не видал. — Он пожал несколько протянутых рук. — Ну, ведите, показывайте, что за год понастроено. Октябрина мне давно писала, что клуб вышел на славу.

— Клуб у нас знаменитый! — гордо сказал Вася.

Толя Осенин иронически вздернул свои встрепанные брови:

— Ну, уж и знаменитый. Вот у наших шефов клуб — это да. Зал на пятьсот человек.

— Ну и что? А ты наш клуб видел? Сперва посмотри, а потом говори! — слышались голоса.

Толя снисходительно пожал плечами:

— Да что смотреть? Я вам, ребята, прямо скажу: конечно, в Москве все лучше, чем у вас.

— Что это все? Что все? — вскипела Октябрина.

— Все. И клуб. И школа. И учителя, — спокойно, уверенный в своей правоте, ответил мальчик. — И что тут спорить, не понимаю. Конечно, в Москве все лучше, а как же?

— Глупо говоришь, Анатолий, — вмешался Энчик. — Большой клуб, маленький... Разве в этом дело? И о школе тоже не по стенам судят.

— Знаешь, Эрнст, я ведь тоже не маленький. Что ты мне объясняешь? Я и не сужу по стенам. Но ведь ясно, что в Москве педагоги квалифицированнее.

И все поставлено серьезнее. Здешний четвертый класс — все равно, что наш третий.

— Ну, знаешь! — воскликнула Октябрина. — Я сразу увидела, что ты задаешься, но уж так...

— Зря ты кипятишься. Ведь я прав. Ваш четвертый — наш третий, — уже с вызовом сказал Толя.

— Думает, если он московский, так умней его нету! — выкрикнул Вася при всеобщем одобрении.

— Проверить его надо, какой он ученый, — веско сказал Демид Коряга.

И все обрадовались: проверить! Вот это хорошо! Пускай докажет, что в Москве учат лучше нашего! Экзамен устроим! Соревнование! Толю даже немного оглушила эта буря.

— Послушай, Эрнст, ну что они на меня напустились? Скажи сам, ведь я прав.

Энцик покачал головой.

— Да? Ну вот, предлагают тебе — возьми и докажи.

* * *

Три дня кряду под вечер на лужайке за домом Малыгиных собирались ребята — больше все одноклассники Октябрины и Анатолия, но приходили и старшие, и, конечно, роем вилась тут же мелкота. В первый день главным судьей хотели выбрать Энцика, но он отказался:

— Лучше пусть Тося.

И Тося каждый раз деловито усаживалась на председательское место — на чурбачок — и вела экзамен, а если поднимался шум, сердито стучала ложкой о жестянку:

— Тише вы! Не в игрушки играете. Не умеете слушать, так уходите.

Но никто не уходил: всем хотелось знать, кто же выйдет победителем. И всем, конечно, хотелось, чтобы победила Октябрина.

А между тем, не так-то просто было предсказать исход соревнований. По обществуведению и Октябрина и Толя, как признал сам неподкупный Демид

Коряга, одинаково знали все насквозь. Уж кто им только не задавал вопросов самых неожиданных, — оба на все отвечали без запинки. На второй день с Толей вышел конфуз: решая задачу, он нечаянно разделил там, где надо было умножить, и в ответе у него получилось семнадцать с половиной лошадей.

— Чего, чего у тебя семнадцать с половиной? — переспросила Тося.

Ребята полегли на траву от хохота.

Толя посмотрел внимательней на свой листок и вдруг выронил его, зажмурился и взялся обеими руками за голову.

— Эх ты, ученый, — сказал жалостливо Демид. — Тебе только на половинке лошади и скакать.

Толя все-таки попробовал оправдаться. Это он не потому, что не знает. Просто по рассеянности. Не тот знак поставил.

— Ничего не значит, — сказал Вася. — Мало ли по рассеянности. Тут зевать не полагается.

На другой день каждый должен был разобрать предложение, совсем как в классе на уроке русского языка, а потом прочитать на память стихи или пересказать какой-нибудь рассказ и не по своему выбору, а какой достанется. Толе досталось рассказывать первому, и он сделал это бойко и уверенно. Потом Октябрина звонко, задорно стала читать из Некрасова о лете, о том, как возили снопы, о постреленке Гришухе. Тут бы и остановиться Октябрине, но она увлеклась:

— А хотите, я еще про Дарью расскажу? Не наизусть, — там у Некрасова много, — а так?

— Что ж, расскажи, — согласилась Тося.

Знала бы она, что из этого выйдет!

Октябрина стала рассказывать, прочитала еще стихи о том, как Мороз-воевода обходил свои владенья, какая красота в зимнем бору...

— А когда вечером Дарья вернулась с дровами домой, она рассказала про все Грише и Машутке... Ой, нет, это я уже не то говорю!

Она разом сбилась и замолчала, опустив руки, растерянно глядя на Тосю.

— Вот тебе и раз! — сказал Толя. — Называется, поправила Некрасова.

— Да нет, — попыталась объяснить Тося. — Понимаешь, это она по привычке. Она ребятам часто по-своему рассказывает.

— Она всегда так, — наперебой заговорили ребята. — Такое выдумывает. Еще получше, чем в книжке...

— Нет, это все-таки не оправдание, — рассудил Энчик.

— Конечно, не оправдание! — подхватил Толя. — Она выдумщица, а я рассеянный. Мало ли что! Сами же вчера говорили. Тут выдумывать не полагается.

Итак, соревнования шли с переменным успехом. Последний «экзамен» — география — должен был стать решающим.

Тащили по три билетика. Последним Толе досталось путешествие Магеллана. Ну, путешествия — давно уже Толин конек! Он рассказывал, и чем дальше, тем явственней в его голосе звучало торжество: он гордился Магелланом.

— В сентябре тысяча пятьсот двадцать второго года в испанскую гавань вошел один из пяти кораблей Магеллана. Магеллан обошел вокруг света. Он доказал, что земля шар и нет у нее ни конца ни края. Теперь даже попам трудней стало запугивать народ раем и адом. И вообще всякий стоящий человек должен путешествовать! — неожиданно закончил Толя.

Октябрина под конец должна была рассказать про Северный морской путь. Она рассказывала, может быть, не так бойко и задорно, как Толя, но тоже подробно, основательно. И когда кончила, среди слушателей и судей воцарилось несколько растерянное молчание. Кто лучше? Как тут решить?

— Ну вот что, — сказал, подумав, Энчик. — Задам я вам еще один вопрос. Можете вы назвать такой географический пункт, где по всем сторонам горизонта у вас будет север? Анатолий, что скажешь?

Толя замялся:

— Что-то я не припомню...

— А тут и помнить нечего, — быстро сказала Октябрина. — Ты ведь будешь путешественником, да? Поезжай на Южный полюс, и у тебя со всех сторон будет север. А если ты когда-нибудь прилетишь на Северный полюс, там, куда ни повернись, во все стороны — юг.

— Молодец, Октябрина, — с удовольствием сказал Энцик.

И все ребята дружно захлопали. Толя смущенно взъерошил и без того растрепанные свои вихры. И Вася сказал ему наставительно:

— Вот то-то! А ты хвастал: ваш четвертый — наш третий!

* * *

Перевалило за полдень. Тихо. Знойно. В небе, выцветшем от жары, неподвижно стоит двугорбое облако, похожее на верблюда. Слепит медленно текущая река, слепит белый, накаленный песок отмели — глаза сами закрываются. Лень говорить, лень спорить, даже в воду опять залезть — и то лень. Октябрина, как всегда, вытянулась во весь рост, заложила руки под голову. Толя разглаживает ладонью песок, стирая последние расчерченные клетки, — он только что кончил растолковывать Васе шахматную задачу. Васю тоже разморило. От нечего делать он выковыривает из пятки вчерашнюю занозу. Даже Пират не шевелится — разлегся возле Октябрины и часто дышит, не открывая глаз. Только младшие представители семейства Малыгиных — Шура с Петькой — никак не угомонятся: шлепают по мелководью, согнувшись в три погибели, нацеливаются поймать ладонями пескаря.

— Цин вен? — неожиданно говорит Вася, поднимая голову и глядя на Толю.

— Что?

— Цин вен, спрашиваю. Как ваше здоровье?

— Не понимаю, что ты выдумываешь.

— Не выдумываю, а по-китайски разговариваю. По-русски — как ваше здоровье, а по-китайски — цин вен.

— А ты почему знаешь?
 — Знаю. Мы всем звеном по-китайски учимся.
 — Врешь!
 — Не вру. Что мы, международным положением не интересуемся, что ли?
 Толя сражен.
 — Кто же вас учит?
 — Сами. У нашей Натальи Александровны брат — капитан, в Китай плавал. Он нам слова прислал. И еще пришлет.
 — И много вы уже выучили?
 — Много. — И Вася тычет Толю пальцем в грудь: — Гуэй чжан!
 — Это что? — с невольным почтением спрашивает Толя.
 — Мальчик. А вот — юин, — Васин палец теперь устремлен вдаль, где тает в синеве двугорбое облако.
 — Облако? — догадывается Толя.
 — Ага. А это — тянь, — и Вася широко взмахивает руками.
 — Что? — не понял Толя.
 — Тянь. Небо. А земля — ти. А вот — шуэй.
 — Река?
 — Вода.
 — А река?
 Вася немного смущен:
 — Реку еще не знаю. А ветер знаю — фын.
 — Молодцы вы! — говорит с завистью Толя. — Здорово придумали.
 — А я, знаешь, что? Я, когда в Китае победит революция, к ним поеду.
 — Зачем?
 — Мало ли. Помогать.
 — Когда победит — неинтересно. Вот сейчас бы...
 — Ну, сейчас от нас толку... А вот выучу все слова — и, пожалуйста, можно ехать.
 За спиною, на отлогом съезде загромыхали колеса. Шура выпрямилась, поглядела из-под руки:
 — Демид за водой едет.
 — Ма, — говорит Вася. — Лошадь.
 Сивая низкорослая Вятка неторопливо завезла

бочку по ступицу в реку, остановилась, опустила голову. Осторожно, едва касаясь воды замшевыми губами, втянула сквозь зубы прохладную струю. Что греха таить, немало видела Вятка на своем веку, молодость ее давно миновала... Но грива ее аккуратно заплетена заботливыми руками Демида, бочка, сбруя — все в образцовом порядке. Сам Демид важен и неприступен, он, кажется, и не замечает, что на отмели кто-то есть. Неизменная серая кепка с пуговкой надета, как всегда, сломанным козырьком назад. По слухам, Демид снимает кепку только перед тем, как нырнуть. Может быть, он и спит в кепке?

Сонной одури как не бывало — ребята всей гурьбой кидаются к бочке.

— Демид, Демид, прокатишь?

— Тише вы, — сурово говорит Демид. — Дайте коню напиток. Воду только мутите.

Вятка напилась. Демид заезжает с бочкой подальше, черпаком на длинной рукоятке наполняет ее доверху. Заворачивает. Распрягает Вятку и, скинув с себя лишнее (только кепка остается неприкосновенной), снова заводит своего коня в воду и начинает старательно отмывать сивые Вяткины бока. Как-то так само собою получается, что через минуту ему уже помогает Вася. Еще через минуту с другого бока к Вятке подходит Толя. Сзади, погружаясь все глубже и время от времени неволью взмахивая руками, подбирается с жуликоватым и испуганным лицом Петька. Подойдя к Вятке вплотную, Толя нерешительно проводит мокрой ладонью по ее шее. Вятка неодобрительно косится на него.

— Ты еще откуда взялся, — ворчит Демид, точно впервые заметив Анатолия. — Тоже помощник нашелся. Без тебя управимся. Возьми вон лучше малого на берег, а то ему уже по шейку, сейчас пузыри пускать начнет.

Вася тоже грозно поворачивается в Петькину сторону, и Петька предусмотрительно пятится к отмели.

Толя не уходит, но и до Вятки больше не дотрагивается. Стоит по пояс в воде, молчит, смотрит.



Но вот Вяткино купанье окончено. Демид ловко ее запрягает, берется за вожжи. Вся компания от Октябрины до Петьки уже тут как тут.

— Вятка, Вяточка, — говорит Октябрина, поглаживая сивые замшевые ноздри.

— Дем, прокати, — ноет Петька.

Толя молчит, смотрит страдающими глазами.

— Правда, Дем, дай прокатиться, — с напускной небрежностью говорит Вася. — Мы с Толькой сзади прицепимся.

Демид отвечает не сразу:

— Ладно, въедем в горку, тогда цепляйтесь. — И грозным взглядом приковывает к месту Петьку, который тоже собрался было присоединиться.

Водовозная бочка подымается по отлогому песча-

ному съезду. Демид шагает рядом, помахивая вожжами. Вася и Толя упираются в бочку сзади, усердно помогая Вятке.

Наконец-то одолели горку, можно и цепляться! Погромыхивают колеса. Из бочки на ухабах выплескивается вода. Плещет в лицо, на плечи, на грудь пассажирам. Белая Толина майка становится почти прозрачной, минутами он невольно жмурится. Но Вася, тоже промокший до нитки, словно и не замечает ничего, и так невозмутим над бочкой неподвижный затылок Демиды в кепке задом наперед. «Но-о, окаянная!» — изредка покрикивает Демид. Ухаб. Еще ухаб.

— Ничего конек, — солидно говорит Толя, сдувая с верхней губы только что брызнувшие ему в лицо прохладные капли.

— Это кто, Вятка-то? — удивляется Вася. — Какой это конь. Вот на второй ферме... Ну, ничего, Анисим обещал — на тот год меня тоже в подручные возьмет.

Ухаб. Еще. Ого, как потрянуло! Уж не решил ли Демид отбить у гостя охоту кататься на наших бочках?

— Да и у нас тут, — как ни в чем не бывало, продолжает Вася. — Видал Веселого?

Веселый! Гнедой красавец в белых чулках, с белой звездочкой во лбу. До сих пор Толе удавалось только издали полюбоваться им. А Энцику на днях, всем на зависть, сам Анисим дал проехаться на Веселом от конюшни до мастерской.

На другой день с самого раннего утра Толя вернется у конюшни.

Ни Анисима, ни Веселого не видно. В конюшне сумеречно, прохладно, рабочие лошади давно в поле. Только у самой двери задумчиво жует Вятка. Демид, напевая что-то под нос, прибирает дальнее стойло.

— Демид, а Демид, послушай... Ну, что тебе, жалко? Я только разок, до ворот только...

— Отвяжись. Нечего больше Вятке делать.

— Демид, ну, послушай...

— Отвяжись, говорят. У меня еще вон стойла не чищены.

— А давай я почищу! Я тебе помогу!

— Много ты начистишь.

Но Толя уже хватает лопату.

Оказывается, не так это просто — навести в деннике ту идеальную чистоту, какую неизменно поддерживает в своем царстве Демид.

И часу не прошло, а у Толи уже ломит спину, ноют руки, темные вихры сбились и прилипли ко лбу. Он то и дело искоса взглядывает на Демиду: «Так ли я делаю? А дальше что?» И ухитряется делать все, как надо, хотя и вдвое медленнее, чем Демид.

Кончили! Демид критически осматривает Толину работу. Что-то он скажет?

— Ладно, — говорит Демид. — Подходяще.

Идет к дверям, взглядывает на небо. Выводит Вятку.

— Пора за водой. — И, посмотрев на замершее в мольбе и ожидании усталое лицо Толи, машет рукой. — Давай садись. До ворот только.

Толя мгновенно расцветает. Он уже и думать забыл об усталости. Он пробует вскочить на Вятку прямо с земли. Нет, оказывается, и это не так просто: лошадиный бок скользкий, крутой, неудобный. А Демид стоит тут же и, сморщив нос, смотрит на неудачные Толины попытки. Смотрел, смотрел — сжался:

— Стань вон сперва на колоду.

Вятку подводят к колоде — и вот Толя на коне! Обеими руками он хватается за жесткую, тщательно заплетенную гриву. Неудобно чего-то! На взгляд лошадь сытая, а сидишь на ней, точно на Кавказском хребте верхом.

— Но, но-о!

Вятка косит задумчивым глазом и не трогается с места.

— Но-о! — повторяет Толя погромче. Он не решается прибавить «окаянная» и только для большей убедительности похлопывает Вятку по шее.

Вятка мотает головой, и вместо того чтобы двинуться к воротам, неожиданно поворачивает и рысцой трусит назад к конюшне.

— На шею ей ложись! Притолокой зашибет! — кричит вдогонку Демид.

Толя едва успевает ткнуться носом в сивую гриву. Вятка завозит его напрямиком в свое стойло.

...Когда в дверях появился повеселевший Демид, Толя уже сполз с лошади и стоял возле нее понурый, несчастный.

— Эх ты, горе, — сдерживая смех, сказал ему Демид. — Говорил я, на половинке лошади тебе ездить. Но, балуй! — прикрикнул он на Вятку, снова выводя ее во двор.

Толя молча поплелся за ним.

В два счета Вятка была впряжена в бочку. Уже взобравшись на сиденье, Демид обернулся и поглядел на Анатолия.

— Цепляйся сзади. Извозился весь, вымыться надо. — И, подумав, прибавил: — Не бойся, я ребятам не скажу.

* * *

Кончается август. Скоро школа, скоро москвичам уезжать.

Может быть, оттого, что думать о проводах, о расставанье всегда грустно, такой невеселой проснулась сегодня Октябрина. Не хочется вставать. И голова что-то тяжелая. Или это оттого, что они так вымокли вчера?

Накануне они с Толей бродили по степи, Толя говорил о Москве, о своей школе — видно, соскучился. И вдруг откуда-то нанесло косматую низкую тучу, хлынул ливень. До совхоза было еще далеко, они бросились бежать, но Октябрина быстро выдохлась. Ну и вымокли до нитки.

Наверно, давно пора вставать. А так не хочется... Подошел Пират, поставил лапы на край кровати, внимательно посмотрел хозяйке в лицо. И вдруг смешно повел черным носом и чихнул.

— И ты простудился, Пиратка?

Говорить трудно, и холодно что-то. А на дворе солнце. «Поздно ведь. Почему же я до сих пор лежу?»

Она все-таки попыталась встать, но руки и ноги не слушались.

Откинулась на подушку — и словно в яму провалилась. Неизвестно, сколько времени прошло. Потом слышались знакомые мамины шаги.

— Лежи, лежи, дочура. Жар у тебя сильный.

— Холодно, мама.

Зинаида Николаевна укрыла ее уже тремя одеялами, а она все не могла согреться.

«Что же это такое? — со страхом всматриваясь в лицо дочери, думала Зинаида Николаевна. — Горит вся, а жалуется — холодно. И на простуду не похоже».

Час спустя пришел доктор.

— Картина ясная, — сказал он, осмотрев Октябрьину. — Приступ малярии.

Шел четвертый день болезни. Октябрьина лежала в постели прозрачно-бледная, ослабевшая, измученная вторым приступом. В ушах звенело от хины, она не слышала стука в дверь и даже удивилась, когда у ее постели появился Энчик.

— Что ж это ты, Октябрьинка? Расклеилась? Ну, ничего. И малярию одолеешь. Главное, не горюй!

— Да ведь обидно, Энчик!

— Понимаю. Но уверен — одолеешь, — серьезно повторил Энчик и с улыбкой прибавил: — Ты ведь у нас известный молодец!

Но Октябрьина не приняла шуток, она уже думала с другом.

— Энчик, а вы когда уезжаете?

— Завтра утром, Октябрьинка. Вот пришел прощаться.

— Уже!.. — Октябрьина плотно сжала губы, помолчала. — А Толя где же?

У Энчика смешливо дрогнули углы рта, крылья носа, в голубых глазах вспыхнули искорки.

— Как где? На конюшне.

Октябрьина тоже слабо улыбнулась:

— Так и пропадает?

— Так и пропадает. Сам Коряга-младший его одобрил. Ничего, говорит, работать может. И подход к коню есть.

Октябрина засмеялась:

— Подход?

— А как же! Вчера даже Веселого чистил, и Веселый ему дался. А знаешь почему? Я уж который день замечаю, Анатолий чай несладкий пьет. Выпьет одну водичку, сахар — в карман и на конюшню. Конечно, Веселый его ждет не дождется.

— Смешной Толька. А сперва как задавался. «Ваш четвертый — наш третий», — передразнила Октябрина.

— Нет, он парень неплохой. Только видишь, как тебе сказать... — Энцик в раздумье взялся двумя пальцами за кончик носа. — Увлекается. Ну и занесется иногда. Вот зимой его шахматы заели. Я, знаешь, сам шахматы люблю, но ведь и кроме что-то есть на свете! А от Тольки просто спасенья не было. Играй с ним с утра до ночи. Надоед хуже горькой редьки. И во всем так.

— Что ж он, и проститься не придет?

— Придет, конечно.

И в самом деле, они поговорили еще, а потом Зинаида Николаевна ввела в комнату немного смущенного Толю.

— Приедешь на будущее лето? — спросила его Октябрина. Она говорила тихо, с усилием, но глаза ее по-озорному прищурились: — А то, может, не понравилось у нас?

— Ну вот, не понравилось... Только, наверно, не придется. Отец говорит, что его, пожалуй, к зиме в другой совхоз перебросят. Под Брянск куда-то.

— У-у, — разочарованно протянула Октябрина.

— Как-то теперь Демид без тебя управится? — подзадорил Энцик.

— А что? — вскинулся Толя. — Думаешь, я ему плохо помогал? Он мне теперь Веселого и то доверяет.

— А может, еще твоего папу не перебросят? — спросила Октябрина. — Может, еще приедешь?

— Не знаю, вряд ли... — хмуро ответил Толя. — Так что, пока прощай, Октябрь!



II. ХОЧУ ЛЕТАТЬ!

Дождь. Капли сползают по стеклу, оставляя мокрые дорожки. Мокрая ветка скребется, тычется в стекло, будто просит впустить ее. Мокро на дворе, неудобно. Такой дождь, словно уже глубокая осень.

Невеселые мысли одолевают сегодня Октябрину.

Ровно два года прошло с той поры, как свалила ее малярия. Привязалась проклятая и не отпускает. Трудные это были годы. В пятом классе она столько болела, почти и не бывала в школе. Знакомый теплый воздух класса, когда рядом друзья, когда вместе со всеми слушаешь, думаешь, узнаешь, веселая суматоха перемен, пионерские шумные сборы — все это стало для нее редкой радостью. Конечно, она училась. Конечно, она была не одна: прибегали друзья — Вася, девочки. И Наталья Александровна часто приходила, успокаивала в горькие минуты: не беда, что болеешь, это пройдет, а знания, а терпение, упорство, выдержка, а дружба твоя с ребятами — все останется... Милые ребята, милая школа, где это все?

Почти все то лето она провела у маминых родных на Брянщине, и малярня отпустила. Но осенью все началось сызнова. Октябрина не сдавалась, она ни за что не хотела сдаваться. После приступа опять шла в школу, не хотела отказываться ни от драмкружка, ни от музыкального, ни даже от спортивного. Извелась, почернела, высохла как щепка, но не поддавалась никаким уговорам отца, Эрнста Яновича, просьбам матери. И уже поздней весной, перед самыми экзаменами, свалилась окончательно.

Трудное время. Но тогда не было так грустно. Все было близко, рядом. Нельзя уже летом пойти с Энциком на веслах, нельзя часами бродить с Тосей по степи, но можно почти каждый день видеть ребят, выглянув в окно, увидеть знакомую улицу. А здесь... Сегодня последний день августа — и впервые в жизни не хочется завтра идти в школу. Новая школа, чужая... Пришлось расстаться с местами, где прожила четыре года. Тогда, после шестого класса, доктор Вера Антоновна сказала непреклонно: надо менять климат. Пришлось переехать сюда, в Дятьково. Здесь она родилась, в этом самом доме, в доме папиной сестры тети Шуры. В этих краях живут и мамины сестры с детьми... Но все равно тоскливо. Пришлось расстаться с друзьями, с Лацетисом, с отцом. Бедный папка, он теперь живет один. Как-то он там один, без них?

Кажется, единственная радость была за эти два года: прошлым летом побывали с мамой в Москве.

Да, да, с этого и началось: она хотела собрать все для школы, открыла ящик стола — и под руку ей попало письмо, которое она прошлым летом писала папе из Москвы. И сразу разбежались мысли.

Вот он, листок из тетради в линейку, исписанный крупными, торопливыми буквами:

«Здравствуй, дорогой папочка!

Как ты живешь? Не болен ли ты? Папочка, я в Москве каталась в метро. Оно мне очень нравится, особенно лестница. Какие там красивые залы, прекрасные коридоры! Просто не верится, что находишься под землей. Побывали в Парке культуры и отдыха.

Вот если бы в нашем совхозе был такой парк! Папочка, я думаю, что при коммунизме обязательно будет.

Я хотела прыгнуть с парашютной вышки, да мама не дала. Потом смотрели разные выставки: выставку, посвященную Северу, радиовыставку, а главное — авиационную выставку. Я там видела самолеты, парашюты и решила обязательно стать боевым летчиком, хотя мама говорит: «разобьешься» (да ведь мамы все такие).

Папочка, писать больше некогда, мама меня торопит — сейчас почта ух...» И дальше — клякса.

Так и не удалось в тот день отправить письмо — в последнюю минуту опрокинула на него пузырек с чернилами. Пришлось переписать и отправить на другой день, а этот листок так и остался в ее бумагах и вот попался под руку. Москва, авиационная выставка...

А может быть, не так уж все плохо? Ведь и здесь, в Дятькове, есть аэроклуб. Теперь только избавиться от малярии, окрепнуть как следует...

Но как все-таки не хочется идти завтра в новую, чужую школу!

* * *

Но на другой день она, придя из школы, еще с порога крикнула:

— Мама, мамочка! Знаешь, кто в нашем классе?

— Кто же?

— Толька! Толя Осенин, Сергея Петровича сын! Помнишь, два года назад, летом?..

— Помню, как же. Вихрастый такой. Все на конюшне пропадал. Погоди-ка, откуда же он здесь взялся?

— Сергей Петрович теперь начальник политотдела в МТС районной. А Толя здесь. Смешной стал, длинный, нескладный какой-то. Знаешь, как мы друг другу обрадовались! Все перемены совхоз вспоминали.

— Ну, вот и хорошо, дочура. Видишь, ты все расстраивалась, а вот тебе и первый друг на новом месте. А там и еще наживешь.

И у Зинаиды Николаевны становится легче на душе. Может, теперь все, наконец, наладится? Отпустит

дочку малярия — и она снова повеселеет, окрепнет. Вот уже и сейчас порозовели немного ее прозрачные щеки, и глаза не такие грустные. Конечно, легко ли — оторвались от всего, с чем сроднились за четыре года, от людей... Отца одного оставили. Да ведь ничего не поделаешь... Но неужели же не привыкнет?

Время шло, а не привыкала Октябрина. И все с большей тревогой смотрела на нее мать. Ведь и раньше приходилось им кочевать. Когда Николая Васильевича назначали в совхоз имени Калинина, тоже ведь пришлось перевести дочку в новую школу, да еще среди года. А как быстро она тогда освоилась, со всеми подружилась, бывало, не дожدهшься ее домой, из школы не выманишь. А теперь все дома и дома, все одна, даже Толя Осенин к ней что-то не приходит. Бывало, всегда вокруг нее детвора, а теперь... Что же это, возраст такой? Или болезнь так ее переменяла? На себя стала не похожа дочка. Бывало, всегда улыбается, всегда у нее на щеках ямочки, а теперь и улыбки за весь день не увидишь. А ведь девочка совсем, четырнадцати нет. Все одна и одна, все в саду. А что там сейчас, в саду? Осень, голо.

Осень, голо в саду. Пахнет грибами, сыростью, палым листом. Облетают последние листья, шуршат под ногами. Октябрина ходит по саду, по бурой, поникшей траве. Если бы, если бы опять оказаться дома... Или на милом малыгинском чердаке, где столько прошло веселых и задушевных часов. А Пиратка бы как обрадовался...

Она устала, присела на низкий пенек — здесь, в самом углу, у забора росли из одного корня две березы-близнецы, одну давно спилили, а другая стоит сиротливо. Это теперь ее любимое место — сядешь на пенек, прислонишься к прохладному гладкому стволу и думаешь, думаешь, закрыв глаза... словно в уютном старом кресле с высокой спинкой.

И вдруг — хорошо знакомый басовый рокот. Октябрина раскрыла глаза. Совсем низко, над голыми вершинами деревьев, над линиями крышами одно-

этажной дятьковской улицы пронесся самолет и ушел куда-то за окраину городка, за лесопильный завод. По бурой траве, у самых ног Октябрины, скользнула тень крыла.

Все так же серо, пасмурно вокруг, постукивают над головой друг о друга зябкие черные ветки, та же бурая, жухлая трава под ногами, а кажется — все посветлело, все по-другому.

Нет, нет, не так все плохо! Только не унывать! Папа был прав: выздоровею, поправлюсь — значит, поступлю в аэроклуб, значит, буду летчиком.

Она так и осталась сидеть, откинувшись, прислонясь плечом, затылком к стволу березы, рассеянно глядя в серое, бессолнечное небо. И понемногу откуда-то из глубины стали всплывать слова, строчки... «Откуда это? — пыталась она вспомнить. — Стихи? Что за стихи?»

Вон оно что: мои. Мои стихи! Сама сочиняю!»

Обрадовалась. Удивилась. Снова обрадовалась. Медленно, почти с недоумением прислушиваясь к каждому слову, повторила:

Мечты бесплодные ненужны,
Но сердце хочет помечтать.
Мечта и сердце вечно дружны,
Обоим хочется летать!

А там уже наплывали новые слова, новые строчки. У нее не было с собой ни карандаша, ни бумаги. Она кинулась в дом, к своему столу и, ни слова не говоря, не садясь, начала торопливо писать.

Зинаида Николаевна в первую минуту даже испугалась. Но, приглядевшись повнимательнее, успокоилась и не стала ни о чем спрашивать.

* * *

Назавтра Октябрина пошла в школьную библиотеку.

— Я хочу прочесть все, что написано об авиации и о летчиках.

Библиотекарша Марья Лаврентьевна поглядела на нее вопросительно: невысокая девочка, бледная до

прозрачности, в синем платье, от которого еще светлее кажутся легкие вьющиеся волосы. А брови темные и темные, строгие, настойчивые глаза. Строгий, не улыбающийся рот. Странно, что такая хрупкая девочка интересуется авиацией.

— Как это — все о летчиках? Художественную литературу?

— Нет, не только. Пожалуйста, и историю самолета и по технике.

— По технике? А ты в каком классе?

— В седьмом.

— Тогда технику тебе рановато. Это ведь очень сложно. Чтобы понять технику этого дела, надо знать физику и математику поглубже, чем в седьмом. Да вот посоветуйся с Борисом Андреевичем, знаешь его? Он ведет физику с восьмого класса. Он большой знаток этого дела, и специальная литература у него есть.

— Спасибо, я с ним поговорю. А пока дайте мне, пожалуйста, все, кроме техники.

— Что ж, на первый случай возьми вот эти две: Боброва «На воздушных путях» и Лебеденко «Боевой полет».

Много ли книг об авиации и авиаторах было в школьной библиотеке: раз, два — и обчелся. Перечитав их все, Октябрина однажды после уроков подошла к преподавателю физики, о котором говорила ей библиотекарьша.

— Борис Андреевич, можно вас попросить? Марья Лаврентьевна говорит, у вас много книг по авиации. Дайте мне, пожалуйста, почитать.

Учитель физики — высокий, сухощавый, с седеющими волосами ежиком — внимательно посмотрел на нее небольшими серыми глазами. Он привык к тому, что, совсем не по его воле, ученики часто смущались и робели от его взгляда. Но эта девочка не робела. Смотрела прямо, спокойно. Конечно, и он сказал ей то же, что Марья Лаврентьевна: нужно основательно знать физику, математику. Но пока, пожалуйста, он даст ей все, что у него есть доступного ей, начиная с беллетристики и очерков о знаменитых полетах.

И она стала читать запоем. Самыми лучшими, са-

мыми долгожданнами были теперь для нее те часы, когда она оставалась наедине с книгой о крылатых людях, наедине со своей мечтой. Авиация, летная школа — ни о каком другом будущем она не думала. Все было окончательно решено, обдуманно. Оставалось только написать отцу и объявить маме, что это уже не детская мечта, а решение на всю жизнь.

Сказать маме. Да это страшно. Ясно, как она к этому отнесется. Папа далеко, придется обойтись без его поддержки. Но все равно этого разговора не избежать. Так лучше раньше, чем позже. Пусть мама привыкнет к этой мысли.

— Хорошо, дочура, — с неожиданным спокойствием ответила Зинаида Николаевна. — Только ты уж теперь большая, должна понимать — летчику нужно крепкое здоровье. Значит, прежде всего думай об этом. Вовремя спать надо, по ночам за книжками не сидеть. Вовремя есть, слушаться врача. На этих условиях я согласна.

«Хитрая мама! Надеется — передумаю. Ну, да ладно».

И Октябрина сказала весело:

— Принимаю, мамочка, все твои условия принимаю!

* * *

Такого множества книг Октябрина прежде никогда не видела. Были у Бориса Андреевича и новые книги и совсем старинные, в тяжелых кожаных переплетах. Одни — с непонятными чертежами и формулами, другие — с удивительными гравюрами, на которые хотелось смотреть не отрываясь. Хорошо бы когда-нибудь все их перечитать. Но не теперь. Теперь для нее важнее всего одна главная, заветная полка, на которой она сама всякий раз выбирает себе книгу. И сейчас она протягивает Борису Андреевичу книгу Жаброва «Почему и как летает самолет». Октябрина давно уже облюбовала ее: книжка небольшая, без формул. Неужели не одолею?

Борис Андреевич пытливо посмотрел на нее, слегка пожал плечами:

— Что ж, попробуй.

Но техника, видно, с самого начала решила доказать, что овладеть ею не так-то просто.

«Не понимаю, — со страхом думала Октябрина. — Столько часов просидела над одной главой — и ничего не понимаю. Как же так? В летной школе наверняка все это проходят. Вот я учлет — должна же я знать, как самолет взлетает, почему держится в воздухе, почему не падает!»

И она снова и снова возвращалась к началу.

— Ночь на дворе, — не выдержала в первом часу Зинаида Николаевна. — Обещала не засиживаться, а слова своего не держишь, какой же из тебя летчик?

Только на третий день Октябрина призналась себе, что с этим ей одной не справиться. И вот она опять стоит перед Борисом Андреевичем.

— Ну как, Смирнова, все понятно?

И опять она не оробела, не смутилась, хотя не очень приятно было ответить:

— Ничего не понятно, Борис Андреевич.

— Значит, убедились, что без математики и без физики не выйдет?

— Убедились. Но неужели до восьмого класса так ничего и не пойму?

— А что, долго ждать?

— Конечно, долго!

Он посмотрел на нее колючими глазами и спросил еще тише, неторопливее обычного:

— Стало быть, авиацию по боку?

Глаза девочки потемнели от обиды. Так вот как он о ней думает!

— Нет, не по боку! А вот вы скажите, если мне самой заниматься? До восьмого класса? Прямо сейчас?

Теперь он смотрит на нее как-то по-другому. Не поймешь, что у него в глазах.

— По-моему, этого делать не следует. Это все вещи сложные, трудоемкие, и овладевать ими лучше систематически, в классе, по программе. А сверх того, на мой взгляд, это и преждевременно. Знания-то шко-

ла даст, а ты вот здоровьем своим займись. Знаешь, какая молодежь идет в учлеты? Со стекольного завода, с лесопильного, из железнодорожных мастерских. Спортсмены, крепыши. Закаленные. А ты, смотри, какая прозрачная.

* * *

«А что, если правда не примут? — думала Октябрина по дороге домой. — Да, конечно, уже четыре месяца, как мы уехали из совхоза, и за все время ни единого приступа. А все-таки... вдруг здоровье подведет?» — Октябрь, ты откуда так поздно?

Толя. Странный он стал какой-то. То слишком хмурый, неразговорчивый, то острит, задевает всех, а глаза все равно не смеются. Совсем не такой, каким был два года назад. А может быть, это только кажется? Может быть, просто они оба выросли? Она ведь тоже не такая, как раньше. Ну, она от малярии, а он отчего? Сперва так обрадовались друг другу. А теперь только и видятся на уроках да на сборах. Сколько раз звала — заходи, и мама хочет тебя повидать, —

нет, не идет...

Задумавшись, она забыла ответить ему, и Толя уже смотрел на нее с недоумением. Но в эту минуту низко над их головами промчался самолет — и головы обоих, как по команде, запрокинулись к небу.

— Пэ-эс тридцать пять! — закричал Толя.

— Нет, цэ-ка-бэ двадцать шесть.

— Да с чего ты взяла? — пожал плечами Толя. — Не знаешь, а поправляешь.

Впервые он стал похож на прежнего Толю —



того, который так азартно и так уверенно твердил когда-то: «Ваш четвертый — наш третий». И она сказала спокойно:

— Нет, знаю. На этом самолете Коккинаки совершил скоростной полет с большим грузом. У пэ-эс профиль не тот.

Толя в изумлении посмотрел на нее.

— Пожалуй, верно. А ты откуда знаешь?

— Мало ли откуда, — весело ответила Октябрина. — Газеты читаю!

Дома она первым делом заглянула на кухню. Мама уже вернулась с работы и хлопотала у плиты. Октябрина подошла сзади, обняла за плечи.

— Мамочка, а что, если я буду два раза в день есть кашу? Поправлюсь я?

— Конечно. От каши всегда поправляются.

— Ладно, будем есть кашу!

* * *

— Слушай, Октябрь, останешься сегодня после уроков? Дело есть.

— Не могу, у меня учком. А какое дело?

— Ну, дело, — уклончиво повторил Толя. — Тогда приходи завтра на час раньше. Ладно?

— Опять не могу. Завтра гимнастическая секция. Ты что, забыл?

— Да, верно... Тогда знаешь что... Я зайду к тебе сегодня попозже, можно?

— Договорились.

...Заседали долго, она возвращалась домой в десятом часу и только по дороге вспомнила о странном разговоре с Толей. Интересно, что у него за дело? Два месяца его звала — не шел... И вид такой таинственный...

Толя был деловит и сосредоточен. В руках он держал что-то большое, завернутое в газету. Осторожно развернул и выложил на стол альбом в коричневом переплете.

— Ты какие модели самолетов знаешь? — спросил он без предисловий.

Ему весь день не давало покоя вчерашнее. Как случилось, что Октябрина поймала его на ошибке? Неужели она лучше разбирается в самолетах?

— Наши как будто все знаю. А что?

— Значит, все?

— Все.

— Ладно. Тогда начнем. В этом альбоме есть все советские модели. Вырезки и фото. Второй год собираю.

Он торжественно раскрыл альбом и заранее приготовленными бумажными полосками быстро заслонил подписи.

— Называй подряд. Какая модель?

Так вот какое у него дело! Что ж, она попробует и на этот раз выдержать экзамен. А, значит, здорово задело его вчера! И она ответила уверенно и все-таки почему-то волнуясь:

— ЦАГИ-три. Самолет-биплан.

— Верно, — забавно подымая мохнатую темную бровь, подтвердил Толя. — А чем он знаменит?

— Это первый в Советском Союзе металлический самолет. И на нем был установлен первый советский мотор.

— Верно. А этот?

— ЦАГИ-четырнадцать, пассажирский. Один из самых больших наших самолетов.

— Верно. Давай дальше.

— Эр-дэ. Рекордный дальний, — с гордостью расшифровала Октябрина.

— Чем знаменит?

— Самый знаменитый! На таком поставлены рекорды продолжительности и дальности, на таком Чкалов через Северный полюс летел! Вот!

Вопросы и ответы следовали друг за другом все быстрее, голоса звучали все громче, все азартнее. Самолетов ведь у нас к тому времени было уже немало, и недаром Толя собирал свой альбом второй год. Но вот, наконец, перевернута последняя страница.

— Молодчина ты, Октябрь! — от души сказал Толя.

И вдруг как-то сразу оживление его угасло. Он закрыл альбом, поднялся и отошел к окну, разрисованному морозом. Стекла дышали холодом, и слышно

стало, как, раскачиваясь на ветру, скребутся ветвями старые липы, словно просят впустить их в дом, в тепло. Толя смотрел в окно, думал какие-то свои думы и не замечал, как пытливо глядит на него Октябрина.

— Слушай, Октябрь, — заговорил он наконец. — А для чего ты все это изучала?

— Для чего? — повторила Октябрина и запнулась: рассказать? А почему не рассказать?

Толя молча глядел ей прямо в глаза и не торопился с ответом.

— Понимаешь, я решила стать летчиком. Буду подавать в аэроклуб. Вот вступлю в комсомол — и подам.

— Так я и думал.

— А ты? Тоже летчиком? А путешествия как же?

— Ну, путешествия... Нет, я еще не знаю.

— А зачем альбом?

— Это длинный разговор.

— Нет, уж ты скажи.

Толя задумался. И теперь уже она, не торопя, ждала ответа.

— Ладно, — сказал он. — Коротко. Надо о чем-то одном, самом главном для тебя в жизни, знать все. Об остальном — основное. Это очень правильно, понимаешь? Это мой отец говорит. И вообще знаешь что? Приходи ко мне. У меня своя комната, книг много. Тогда и поговорим обо всем. А сейчас поздно, тетя Лена будет беспокоиться, — говорил он, уже застегивая пальто, и взял из рук Октябрины аккуратно завернутый ею в газету альбом. — Придешь?

— Приду, — сказала Октябрина, и тут же у нее мелькнула мысль: а когда приду? Времени так мало — уроки, учком, а главное — книги... Но Толя был ей ближе всех здесь, а оттого, что она поделилась с ним своей мечтой, сразу стал еще ближе. Нет, конечно же, она придет.

* * *

Толина комната ей сразу понравилась. Небольшая, во всю стену окно, перед окном письменный стол, рядом у стены широкий диван, а напротив полстены занимают полки с книгами. На этажерке небольшой

радиоприемник, знакомый коричневый альбом и, конечно, шахматы. Хорошо у Толи!

Прежде всего ее потянуло к книгам. Сколько всего! И Лермонтов, и Пушкин, и Тургенев, и кого только нет!

— У меня почти все классики. Это еще до революции — видишь, как издавали, с золотом, каждый том полпуда весит. А вот Пушкин, смотри, новый, к столетию со дня смерти.

А это что? Октябрина берет в руки большую книгу. На желтой узорной обложке силуэтом знакомый острый профиль: темный кок, очки, невесело сжаты тонкие губы. Грибоедов.

— «Горе от ума» в постановке Художественного театра». Наверно, очень интересно, да?

Октябрина открывает книгу, и на титульном листе видит тонкую, вкось бегущую надпись: «Моему дорогому Толюше в день четырнадцатилетия. 17 мая 1937 г. Мама».

— Это, наверно, очень интересно, — повторяет Октябрина. — Можно я возьму?

Толя отвечает не сразу. С той минуты, как Октябрина взяла в руки эту книгу, он почему-то помрачнел, сдвинулись густые, не по-мальчишески лохматые брови. Октябрина удивленно смотрит на него — почему он не отвечает?

— Ты лучше... Да нет, возьми, конечно.

Избегая взгляда Октябрины, он отвернулся, быстро отошел к столу. Какой-то он странный... Она подошла к нему, тихонько тронула за плечо:

— Что ты какой? Случилось что-нибудь?

— Понимаешь, — заговорил Толя, не оборачиваясь, — от нас мама ушла. Уехала летом в Москву и не вернулась. Прислала нам письмо, чтоб не ждали. И чтоб я ехал к ней. — Он помолчал немного. Потом продолжал спокойнее. — Папа говорит: «Ты, Анатолий, сам большой. Решай, с кем жить станешь. С кем тебе лучше». А я знаю, ему без меня плохо будет. И зачем я к ней поеду, раз она нас бросила.

Он все еще не поворачивался к ней; опустив голову, он быстро-быстро вертел в руках спичечный коробок. Октябрина молча стояла рядом.

Как же так? Как могло случиться такое? И что сказать Толе? Что скажешь человеку, когда ему так плохо...

— Толя, — начала она, отбирая у него коробок. — Толя... ты... ты про это не думай. У тебя зато папа какой хороший...

И осеклась: ох, что же это я говорю! Как можно не думать? У него теперь все мысли об этом. И что ни скажешь, утешить нельзя...

Помолчали.

— Слушай, Октябрь, — попросил он, — только ты ребятам никому не говори.

— Да ты что? Да разве...

Он поднял голову и впервые взглянул на нее. Потом, ни слова не сказав, выбежал в другую комнату и сейчас же вернулся с блюдцем, полным разноцветных, ярких, как фонарики, конфет, которые называются «Китайская смесь».

— Грызи, они вкусные. Тетя Лена всегда их покупает.

Они сидели с ногами на диване, между ними стояло блюдце. Грызли конфеты и продолжали разговор, начатый неделю назад над Толиным альбомом.

— Ты, конечно, прав, все самое важное надо знать. Но уж что-то одно, свое, надо знать лучше всех. Понимаешь, лучше всех!

— Тебе хорошо, ты решила, кем будешь. Ясно, теперь об авиации должна все знать. А если я не решил?

— Тогда не знаю... Нет, тогда ты просто должен изучить как можно больше всего.

— Я же и говорю! Слушай, Октябрь, а давай вместе изучать. Все будем вместе знать — что ты, то и я, что я, то и ты.

— Давай, конечно! Только... откуда я время возьму?

— Подумаешь, время. Можно спать меньше.

Октябрина покачала головой.

— Нет, этого никак нельзя. А то меня не примут в аэроклуб. По здоровью не пройду.

— А на что тебе столько времени? Ну, читаешь. Ну, учком, кружок... Уроки ж ты, наверно, недолго делаешь?

— А хозяйство? Надо же маме помочь, она ведь работает. Печку истопить, в магазин сходить.

— Да... — протянул Толя и вдруг вскочил. — Придумал! Вот я и буду за тебя в магазин ходить и печку топить.

— Ну что ты. Зачем?

— А ты в это время будешь авиацию изучать. Идет?

— Нет, не годится. — Октябрина помолчала, подумала. — Тогда давай лучше так: я мою посуду, картошку чищу, убираю, ну в общем что-нибудь такое, а ты в это время вслух читаешь. Идет?

— Идет.

Они проговорили до позднего вечера. Теперь, когда они поделились друг с другом самым важным для каждого, им хотелось знать друг о друге все.

Оставшись один, Толя еще долго не ложился, ходил по комнате, машинально брался то за одну книгу, то за другую и, не открыв, ставил на место. Потом лег, но ему не спалось. Он думал о матери. Думал с болью, которая стала уже привычной: с нею он ложился, с ней и вставал. Почему ушла? Зачем? Как она может без него, без папы? Письма от нее хорошие, ласковые, но так трудно отвечать на них...

Наконец как-то незаметно мысли перешли на другое. Кем быть? Он так и уснул, не решив. Но он теперь твердо знал, что Октябрина лучше всех в классе. Хорошо, что он сказал ей о маме.

* * *

— Ты что какая задумчивая ходишь, дочура? Случилось что?

— Нет, ничего... или... случилось. Мамочка, ты знаешь, Толина мама от них ушла.

— Знаю, дочура, слыхала.

— Почему это? Сергей Петрович ведь такой хороший, и Толе как плохо. Не понимаю. Как это можно? Она плохой человек?

— Не знаю, не скажу тебе. Говорили о ней хорошо. Умная, инженер хороший.

— Но ведь и они оба хорошие. Не понимаю. Как это мать может сына бросить? Сама бросила, а потом зовет. Как же он к ней поедет?

— Трудные это дела, девочка. Сразу они не решаются. Люди взрослые, пережито, передумано много. Как тут со стороны судить?

Октябрина подошла к матери, положила руки ей на плечи, посмотрела в глаза.

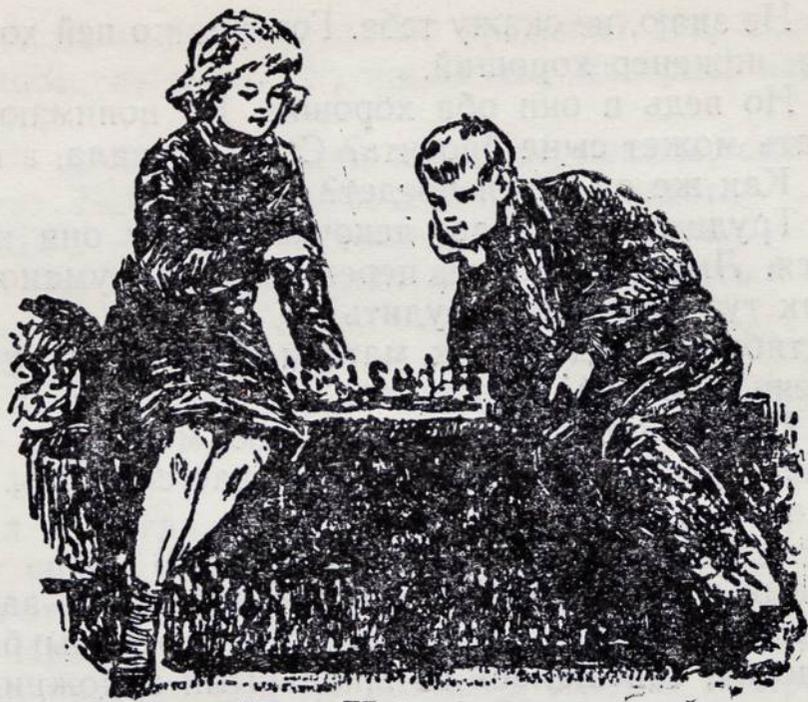
— Нет, не понимаю. Не понимаю, мамочка... Только знаешь, если бы ты.. если бы у вас с папой.. я бы умерла.

* * *

Время шло. Октябрине поручили отвечать за Грибоедовский вечер, и теперь она все перемены бегала в хлопотах, совещалась со школьными художниками, чтецами, артистами. Она вбегала в свой класс захватившись, за секунду до учителя и неизменно встречала вопрошающие Толины глаза. Она улыбалась ему, и он улыбался в ответ.

Толя жил минутах в пятнадцати ходу от Октябрины, на параллельной улице, но домой из школы им вдруг стало по дороге. Они говорили о том, что было на уроках, и о том, что будет на вечере, вспоминали совхоз, Энцика, Демида, — о чем только они не говорили!

Понемногу в классе привыкли к тому, что Октябрина и Толя вместе ходят домой, в библиотеку, в магазин, на каток, что если Октябрины нет дома, ее наверняка можно застать у Толи, а если она не пришла в школу, Толя первый знает почему. Классу нравилась эта дружба, и ребята по-своему выражали свое одобрение. Если класс шел в кино или в театр, Смирновой и Осенину доставались места рядом. Если выбирали какую-нибудь комиссию и называли Смирнову, тут же называли и Осенина. А Толин сосед Андрей Винокуров уговорил соседа Октябрины Леву Коржикова поменяться с Толей местами. И хоть Леве не хотелось уходить с насиженного места, он в тот же день сказал Октябрине:



— Что-то я стал плохо видеть. Придется пересесть поближе.

И поменялся с Толей.

* * *

Вечер. Один из тех вечеров, когда Зинаида Николаевна возвращается с работы поздно.

Посуда уже вымыта, со стола убрано. Осталось начистить картошку на завтра. Проворно движется нож в руках Октябрины, одна за другой падают в кастрюлю холодные, гладкие картофелины. Сидя на краю столика, на котором лежат Октябрины учебники, Толя дочитывает вслух «Жизнь летчика». В одной руке у него книга, другой он то и дело взмахивает для большей выразительности. Молодчина этот Бобров! Сам летает, сам про это пишет — да как здорово написал!

Дочищена картошка, дочитана книга.

— Сыграем? — предлагает Толя.

— Давай, — соглашается Октябрина и достает из ящика старые шахматы.

Изредка в свободный час они позволяют себе сразиться. Толя играет сильнее. Редко, редко случается ему проиграть. Но сегодня он что-то слишком самоуверенно пожертвовал вначале коня, что-то уж слишком перемудрил, и вот...

— Мат! — кричит Октябрина.

— погоди, не может этого быть! А если я сюда?..

— Ни сюда и ни туда. Шах и мат!

В голосе Октябрины нескрываемое торжество. Толя насупился, чешет бровь.

— Это все оттого, что я пошел на риск. Не отдал бы коня — не проиграл бы.

— И вовсе нет, вовсе не потому!

— Да брось ты, Октябрь... Это все тот конь. Глупо рискнул.

— Вовсе нет, вовсе нет, ничего такого нет, — напевает себе под нос Октябрина, заново расставляя фигуры.

— Что это ты? — удивляется Толя.

— Так, ничего. Ничего, ничего...

И вдруг задорно, громко, как частушку, Октябрина поет:

Мне Осенин говорит:
Сокрушит тебя гамбит.
Я скажу ему в ответ:
От гамбита толку нет.

Вовсе нет, вовсе нет.
Ничего такого нет!

Толя смотрит на нее изумленными глазами и, смеясь, хлопает себя по коленке. С шахматной доски катятся на пол белые и черные фигуры. Досады как не бывало.

— Ух, ты! — говорит он. — Вот не ожидал! — И тут же прибавляет: — А все-таки женщины плохие шахматисты. Никаких Алехиных и Капабланок из вашего брата не получается.

— Ах, вот как? Может, женщины вообще хуже мужчин?

— Да нет, я ничего такого не говорю, — несколько даже теряется Толя. — Просто...

— Что просто? Может, женщины к математи-

ке не способны? Или к технике? А Софья Ковалевская? А может, скажешь, Полина Осипенко плохо летает?

— Да нет же, что с тобой? Что ты на меня напустилась? Я же только про шахматы. Шахматисток больших ведь правда нет.

— Будут шахматистки. Вот увидишь!

О том, что Толя с Октябриной бредят авиацией, читают книги по авиации, только и думают, что об авиации, разумеется, знал весь класс. Да и как не знать? Они даже острили и то на летные темы.

— Кто отгадает шараду? — спрашивает Октябрина на большой перемене. — Первое повар, второе знаменитый английский артист, третье — славянское возпросительное наречие, а все вместе советский летчик?

Вокруг сразу собирается компания мастеров отгадывать шарады. Что-то очень хитро. Повар? Что за повар?

— Повар, да не простой, — подзадоривает Октябрина.

— Ага, шеф, — догадывается Лева Коржиков. — Шеф... А дальше как же?

— Повар, только не простой, а особенный, морской, — напевает Октябрина.

— Ясно, — говорит Толя. — Владимир Коккинали.

— Ух, ты! Откуда, почему? Как ты отгадал? — раздаются голоса.

— Очень просто. Судовой повар — кок, знаменитый актер — Кин. Был такой еще при Шекспире. А наречие — аки.

— Какие еще аки? — недовольно переспрашивает Андрей Винокуров.

— Славянского языка не знаешь? Аки — значит как. Слышал выражение — аки зверь рыкающий?

— Ну, это иди догадывайся, — ворчит Андрей.

— А я знаю славянский язык, — победоносно объявляет Лева Коржиков. — Вот я вам сейчас тоже шараду задам: первое — сооружение в порту, вто-

рое — часть лица на славянском языке, третье — предлог, а все вместе — летчик. Ну-ка?

И он с веселым вызовом оглядывает ребят.

Ребята молчат, думают. Звенит звонок.

— Что, не догадались? — говорит Лева. — Теперь всю географию думайте, до следующей перемены.

Но еще прежде чем начинается география, на парту Октябрины падает брошенный умелой рукой бумажный комочек.

Иван Иванович сосредоточенно проглядывает журнал, выбирая, кого вызвать. Октябрина быстро разворачивает бумажку. На бумажке написано одно только слово: «Догадалась?»

Она поднимает глаза, встречает вопросительный взгляд Левы и чуть заметно качает головой.

— Эх, ты, — одними губами произносит Лева. — Мол-ско-в. Око, понимаешь? — И он тычет себя пальцем в глаз. — А все вместе — Герой Советского Союза Молоков.

Октябрина кивает. На лице Левы торжество. И вдруг...

— Коржиков, к доске!

Хорошо, что Лева тоже был из числа любителей путешествий и географических открытий и не ударил лицом в грязь, так что и на следующей перемене настроение у всех было отличное. И вдруг Андрей спохватился:

— Слушай, Смирнова. Ты там вечер готовишь. А знаешь, к нам из Москвы артисты Малого театра приехали, так они будут показывать сцены из «Горя от ума».

— Я уж видела, — грустно сказала Октябрина. — Афиши-то повсюду висят, да ведь билетов не достанешь.

— Не достанешь? А если я тебе сейчас два билета дам?

— Правда? Честное слово?

— А как же! — Андрей очень доволен произведен-

ным впечатлением. — Держи. Зови, кого хочешь. Изучай столичный опыт.

— Какой ты молодец! Вот спасибо! Деньги я тебе завтра принесу, — сказала Октябрина, бережно взяв в руки два больших синих билета. И вдруг растерянно спросила: — Слушай, Андрей, а ты как же?

— Ну, я... Я и не собирался. Ты с кем хочешь, с тем и иди.

Как будто он не знал, с кем пойдет Октябрина!

Впервые они с Толей шли в театр вдвоем. Если бы не какие-то ехидные девчонки, сидевшие за ними, все было бы превосходно. Но девчонки непрерывно шушукались, задевали их коленками и решительно не давали слушать. Не выдержав, Толя обернулся и метнул в них возмущенный взгляд. Они замолчали было, но тотчас одна прошептала громко, так, чтобы и Октябрина и Толя услышали:

— Воображают чего-то. Жених и невеста.

Они не обернулись, не ответили. Но в антракте почему-то ни ей, ни ему не захотелось выйти походить по фойе. А потом, когда они стояли в очереди за пальто, Октябрина сказала, глядя в сторону:

— Знаешь, с классом лучше ходить. Веселее.

— Ага, — согласился Толя. — Никакие дураки сзади не сидят.

Октябрина ничего не ответила. Впервые им было как-то не по себе вдвоем. Но как только они вышли на улицу, где безмятежно светили желтые фонари и большими ленивыми хлопьями падал снег, все стало на свое место: возвращаются друзья из театра и говорят о виденном.

— Прямо зло берет, — морщась, сказал Анатолий. — Умный человек, а в кого влюбился. Кривляка эта Софья — и больше никто.

— Ну, а в кого ему было влюбляться? Всякие там Мими, Фифи...

— Все равно я бы в такую не влюбился, — убежденно сказал Анатолий. — Лучше уж никого не надо. Женщины что? Ничего они не понимали.

— Как это ничего? — Октябрина даже остановилась. — Как ничего не понимали? А Татьяна? Татьяна

в тысячу раз больше Онегина понимала. И вообще он ей в подметки не годится. Вот!

— Это еще вопрос. Конечно, он разочарованный. А она зачем за генерала вышла — она ж его не любила?

— Ну и Онегин ее не любил. Думаешь, он потом ее полюбил? Это он из самолюбия. Кривляка он — и все.

— Ну, это уж ты слишком. Конечно, Онегин ее любил. Помнишь:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами...

— Да, конечно... — Октябрина подумала еще, мотнула головой: — А Татьяна все равно его зря любит. Я бы ни за что не полюбила.

— Кого же ей тогда любить?

— Сам говорил, если некого, лучше никого не надо. Даже не понимаю, как можно полюбить плохого человека. И вообще, — совсем уже неожиданно закончила Октябрина, — ты ничего не понимаешь в любви.

И тут только они заметили, что, громко споря и размахивая руками, давно уже стоят у чужой калитки, а с крыльца на них, усмехаясь, смотрит седой усатый дядька в форме железнодорожника.

* * *

Чем дальше, тем меньше они бывали врозь, и им уже казалось, что иначе и быть не может. Но настало лето.

И поехали Октябрина с Толей в разные стороны.

Луч солнца скользнул по щеке Октябрины, заглянул под ресницы, и она открыла глаза. Где это я? Потемневшие бревенчатые стены, три окна, раскрытые прямо в утреннюю безоблачную синеву... Она по-

вернулась на бок — под простыней зашуршало сено. Сено... Ах, вот что, она у тети Кати, в той самой школе, где тетя Катя живет и учит двадцать третий год. Рядом спят сестры. Три коротко стриженные бело-брысые головы — это Вера с Любочкой и озорная Надька. Темноволосая и кудрявая — Тамара. Все родные съехались. За разговорами засиделись поздно, и сейчас еще спят.

Октябрина натягивает на себя пестрый, чуть выцветший сарафан. Все-таки выросла с прошлого лета, коротковат стал. Ну, ничего. Она берет в руки тапки и, осторожно ступая босыми ногами, подходит к окну. Еще миг — и она в саду.

Хорошо в саду! Всюду разрослась сирень. Она отцвела уже, но все равно она какая-то совсем особенная, так и дышит прохладой, свежестью, и на каждом темном глянцевом листе светится по росинке. И трава росистая, тапки сразу потемнели. Октябрина обходит каждый знакомый уголок. Старая, покосившаяся скамья на березовых столбиках... Здесь давным-давно, еще до отъезда в совхоз, Тамара рассказывала Октябрине страшные сказки о привидениях. Как хотелось тогда своими глазами увидеть хоть одно привидение! Как-то ночью она даже лазила на чердак, чтоб подкараулить их, но привидения так и не показались. А вот на откосе, который обрывается к ручью, среди кустов сирени еще стоит полуразвалившийся шалаш. Прошлым летом они с Надей построили его для младших сестренок. А Тамара все посмеивалась, что они взялись за такое детское занятие, и все лето дразнила Октябрину «индейцем».

Под ногами целое гнездо темных, остроугольных листьев. Щавель! Да сколько! Приятно пожевать свежий кислый листок. А вот еще гнездо, еще... Сама не замечая, Октябрина набирает полные ладони. Куда ж его? И нести не в чем. Она оглядывается — а, вот! Кладет щавель наземь и спешит к густым зарослям лопуха. Срывает два самых больших, самых лопухих листа, аккуратно прошивает травинками. Вот и кошель. Будут к обеду зеленые щи.

Когда Октябрина вернулась в дом и к изумлению

тети Кати высыпала на стол груды щавеля, все уже давно встали.

— Где ты пропадала? — кинулись к ней Вера и Любочка. — Сама обещала на ручей идти, а сама пропала.

— Сейчас и пойдём.

— Какая скорая, — насмешливо сказала тетька Катя. — Погоди, сперва позавтракать надо.

Но вот, наконец, и с едой покончено. Всею гурьбой девочки побежали через сад к ручью. Вышли на откос и зажмурились: утреннее, еще невысокое солнце бьет прямо в глаза, ручей так сверкает, что смотреть больно. Он выбегает из лесу, огибает задворки села, вьется по



лугу — узкий, юркий, только и уследишь за ним, что по кустам ивняка, которые кое-где серебрятся на берегу, — и вновь исчезает в дальнем лесу.

— Пошли посмотрим, откуда он бежит, — вдруг предлагает Октябрина. — Интересно ведь.

— Вот это дело! — подхватила Надя, большая охотница до всяких приключений. — Мальчишки говорят, там родники ух какие! Как лед.

— Что ж, можно, — снисходительно согласилась Тамара.

...Шли лугом. Тамара хотела было срезать напрямик, но Надя запротестовала: по ручью, так уж по ручью. Славно шлепать босыми ногами прямо по воде, сквозь которую светится белое песчаное дно. Солнце уже припекает, но из лесу навстречу летит прохладный ветерок, и девочки ускоряют шаг.

Вот и лес. Такие стоят дубы и ели, что сколько Вера с Любочкой ни задирают головы, вершин не видеть. А между ними какие высоченные раскидистые клены, березы. И кусты на берегу ручья становятся все выше, за ними даже Тамаре с Октябриной не видно друг друга. По дну уже трудно идти: вместо гладкого песка то мелкие камешки, то липкий темный ил, и все чаще спотыкаешься о корявые переплетенные между собой корни деревьев. Младшие постепенно притихли. Девочки теперь шли словно по зеленому тоннелю, в который изредка пробивались золотые солнечные стрелы.

Первой шла Надя, воинственно размахивая длинным ивовым прутом. За нею — крепкая, широкоплечая, мускулистая, как мальчишка, Тамара. Она шагала немного враскачку, нагнув темноволосую кудрявую голову и не глядя по сторонам. Отыскать родник — отчего и не отыскать. Это и ей интересно. А лес... чего она в лесу не видала?

И вдруг тоннель оборвался, и они вышли на небольшую, совершенно круглую поляну. Со всех сторон ее обступали гладкие, ровные стволы кленов.

— Девочки, дворец! — обрадовалась Надя.

— Красиво, — снисходительно кивнула Тамара.

— Красиво, — повторила Октябрина. — Очень. И знаете, на что похоже? В Москве в метро такие колонны.

Пошли дальше. Лес поредел, кустарник раздвинулся, на воде заиграли солнечные пятна. И совсем уже он стал мелкий, этот ручей, и совсем узенький, только-только одному пройти, а конца, вернее начала, ему все нет и нет. Только вода становится все холоднее.

— Когда мы придем? — тихо спросила шедшая позади всех Любочка. — Идем-идем...

И опять впереди посветлело.

— Ура! Нашли! — закричала Надя.

Подымая фонтаны брызг, Октябрина бегом нагнала ее. И вот они стоят посреди маленькой зеленой поляны. Густая трава подымается им по колено, и в траве поблескивает круглое окошко. Небольшое — руками охватишь. Но когда Октябрина наклонилась над темным водяным кругом, ей показалось, что этот тихий лесной колодец уходит глубоко-глубоко, к самому сердцу земли. Поверхность его была почти гладкая, только в одном месте под длинными, влажными прядями травы билась, кипела струя.

Надя сложила ладони ковшиком, зачерпнула, поднесла к губам.

— Ух, ты! До чего ледяная! Прямо жжет!

— Прямо жжет, такая ледяная! — рассказывала в тот вечер Октябрина матери. — А как там красиво, ты бы видела! Подумай, значит, все реки из таких вот родничков? И самые большие?

— Что ж, все большое с малого начинается, — задумчиво говорит Зинаида Николаевна.

Но Октябрине сейчас не до философии, она слишком полна виденным.

— И Волга так? Вот бы посмотреть!

— Посмотришь еще, дочура. У тебя вся жизнь впереди.

— А знаешь, мама, как это интересно: вот захотели найти, откуда ручей начинается, — и нашли!

— И далеко, видно, ходили. Вон Любочка и не обедала толком, так за столом и уснула.

Октябрина нахмурилась.

— Знаешь, мама, Тамара ведь не хотела их с Верой брать. А они так просились. Я и сказала—возьмем.

— А они замучились и вас, верно, замучили дорогой, — покачала головой Зинаида Николаевна.

— Да нет, ничего. Только вот под конец они две уже еле плелись. И жалко их, и смешно даже. Любочка спотыкается, а Вера ее за руку тянет и приговаривает: «Иди, иди. Недолго уж. А то в другой раз Тамарка нипочем не возьмет». А Тамара и правда оглянулась и говорит: «Ага, раскисли. Зря мы с вами связались». Все-таки она какой-то сухарь, эта Тамарка. Ну, устали они. Зато какое удовольствие получили! А в другой раз и устанут меньше.

— Так-то оно так, дочура, а только напрасно ты плохо думаешь про сестру. Она, конечно, грубовата, настоящий мальчишка, и младших не очень жалует. Да ведь и в обиду их не даст. Ругать она мастер, а надо будет, так и на закорках Любочку потащит.

— Откуда ты знаешь? — поразились Октябрина. — Она и правда хотела Любочку нести, когда мы назад шли. Только уж Любочка не согласилась, она ведь тоже самолюбивая.

Зинаида Николаевна рассмеялась.

— И это неплохо, если к месту. А про Тамару, дочура, я тебе еще скажу: ты так с маху людей не суди. В одном слове да с одной стороны человек весь не виден.

— И плохой не виден?

— Еще меньше виден. Плохой-то лучше умеет рассудить, какое слово сказать, умет за словами прятаться.

Октябрина прижалась к плечу матери, заглянула в теплые карие глаза.

— Мама, а ты все понимаешь? Всех людей понимаешь?

И снова усмехнулась мать — грустно и ласково:

— Все не все, а в людях немного разбираюсь. Жизнь научила, Октябринка. И тебя научит.

...Быстро, незаметно пролетают летние дни. Уже

давно кончился отпуск Зинаиды Николаевны, и она уехала назад в Дятьково. Сколько исхожено лесных и полевых троп и дорог, сколько собрано ягод и грибов! В лесу запахло желудями, от ствола к стволу протянулись радужные нити паутины, все чаще мелькает в осиннике багряный лист. Август на исходе. И все крепче, все спокойнее чувствует себя Октябрина. Значит, правду ей говорили тогда — надо было менять климат. И в воде она плещется, и на солнце жарится, а за все лето ни одного приступа не было. Отпустила малярия! Теперь буду летать!

* * *

Наконец-то поезд замедляет ход! Октябрина еще с площадки увидела родное лицо, первой выскочила из вагона. Только теперь она поняла, как соскучилась. До этого они только однажды расставались так надолго — когда мама уезжала учиться.

Но вот они разняли руки, и тотчас Октябрина увидела рядом очень знакомую спину.

— Андрей, ты откуда взялся?

Андрей Винокуров нерешительно поворачивается. Ну, кажется, объятия и поцелуи кончились.

— Здравствуй, Октябрина. Понимаешь, Анатолий заболел. Ангина у него. Ну и говорит: сходи, говорит, на станцию, может, у нее вещей много, им одним не справиться. Ну, я и пришел.

И, подхватив чемодан и корзинку, двинулся к выходу.

— Погоди, Андрей! Дай я хоть корзинку возьму!

Но Андрей только повел плечом.

— Слушай, а он давно заболел?

— Да вроде недавно. Я и не знаю. Сам только вчера приехал. Ох, и красота в лагере была!

И он стал с увлечением рассказывать про лагерь. Было о чем порассказать — хватило до самых Октябриных дверей.

— Ну ладно, я пошел, — сказал Андрей, поставив вещи на крыльце. — Приходи к Тольке.

Но Зинаида Николаевна взяла по такому случаю выходной день, и они с Октябриной проговорили до

позднего вечера. Поэтому к Толе Октябрина собралась лишь на завтра.

Она подошла к знакомой калитке, поглядела на знакомое окно — и вдруг бегом кинулась по дорожке и взбежала по ступеням крыльца.

На ее звонок вышла строгая, темнобровая тетя Лена.

— Здравствуй, Октябрина. Заходи. Толя тебя с самого утра ждет. И вчера ждал.

— Здравствуйте, Елена Петровна. А он очень болен?

— Да нет, не очень. Уже поправляется, — и Елена Петровна отворила дверь Толиной комнаты.

Он сильно загорел, и на белой наволочке его лицо показалось Октябрине совсем темным и худым, а глаза — больше, чем прежде. Он приподнялся на локте и смотрел на нее радостно и тревожно.

— Ты что так долго не шла?

Как странно. Кажется ей или он и в самом деле стал другой?

— Ну, чего ты так смотришь? — спросил Толя, не сводя с нее радостных и смущенных глаз. — И молчишь почему?

— Ты как изменился.. — сказала Октябрина, еще не понимая, по душе ей это или нет.

— И ты. Только выросла мало.

— Зато посмотри, какие мускулы, — она согнула правую руку, изо всей силы сжала кулак.

— Ого, молодец! — Толя потянулся к ней и чуть не перевернул стоявший рядом на столике стакан. Октябрина подхватила стакан, выпрямилась и совсем близко увидела Толино лицо. Нет, все-таки он какой-то не такой.

— А ты... ты... — начал Толя и запнулся. Как ей сказать, что и она совсем изменилась. Вот она какая стала. Лучше всех.

— Что я?

— Смешно, про тебя тетя Лена говорит, что у тебя волосы льняные. А по-моему... — Толя опять запнулся и вдруг, сам не зная как, брякнул: — По-моему, они у тебя какие-то лунные.

И покраснел как рак.

Октябрина ничего не поняла. Что за глупости — волосы лунные... И вдруг почему-то тоже отчаянно покраснела и рассердилась.

И спросила деловым тоном:

— У тебя учебники уже все есть?

— Историю еще не достал. И алгебру, — мрачно ответил Толя.

* * *

По-прежнему Толя и Октябрина сидели на одной парте, по-прежнему вместе занимались всеми общественными делами и вместе возвращались домой. Но иногда почему-то разговор у них обрывался, и тогда оба не знали, как его снова начать. И эти минуты неловкого молчания тяготили обоих.

«Все-таки невозможно понять, что такое с Толей, — в сотый раз говорит себе Октябрина. — Опять он ходит мрачный, молчит. Вот и сейчас на катке — ну что такое? Полтора часа катались — и десяти слов за все время не сказал. И сейчас идет чернее тучи...»

Октябрина сбоку сердито поглядывает на Толю. Ну что это такое в самом-то деле! И, размахивая коньками, повернув к Толе розовое от холода, нахмуренное лицо, она решительно начинает:

— Слушай, Анатолий. Ты стал ко мне иначе относиться.

— Да, ты права, — быстро отвечает Толя, словно давно ждал этих слов.

Вот как, он и не пробует спорить! Октябрина удивлена, но не подает виду.

— Ну? — требовательно спрашивает она.

— Понимаешь... Мне показалось, что я отношусь к тебе...

— Как относишься? — строго переспросила Октябрина, и почему-то у нее быстро-быстро забилося сердце.

— Ну в общем как... В общем как Онегин, — в совершенном отчаянии закончил Толя и махнул рукой.

Октябрина долго молчала. Нет, это возмутительно! Ведь они товарищи, друзья. И вдруг — здравствуй-

те: «Как Онегин...» Выдумал тоже. Она не могла понять, что больше всего обидело ее в словах Толи.

— А сейчас как? — спросила она тем же строгим голосом.

— Нет, сейчас все в порядке. Просто мне, наверно, показалось, — сказал Толя. Но лицо у него было по-прежнему мрачное, и на Октябрину он не смотрел.

— Ну ладно. Тогда все в порядке, — повторила Октябрина. Но облегчения почему-то не почувствовала.

И непонятно откуда взявшееся ощущение досады еще долго не оставляло ее после этого разговора.

Шли дни. Все так же неразлучны были Толя с Октябриной, все так же делились друг с другом каждой мыслью... почти каждой. Но нет-нет и возникали опять неловкие минуты молчания, когда оба не знали, как снова заговорить, и оба жалели о том времени, когда им было друг с другом так просто и легко.

Впрочем, много раздумывать над этим было некогда: приближался большой день в жизни обоих. Как только Октябрине исполнится пятнадцать, они вступят в комсомол.

Готовились вместе. Вместе вчитывались и в каждую строчку устава, и в пахнувшие грозой и порохом газетные телеграммы о событиях в Абиссинии, в Испании, в Чехословакии, придирчиво проверяли друг друга. И однажды вечером Октябрина осторожно достала из ящика стола потертый на сгибах лист бумаги.

— Вот, смотри.

— Что это? — удивился Толя, разглядывая странную, видно много лет лежавшую бумагу с официальным названием «Акт» и со множеством подписей в конце.

— Ты прочти. Это мне такой наказ давали.

И Толя стал читать:

« А К Т

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что 21 ноября 1923 года в ряды трудящихся Союза Со-

ветских Республик вступила новая гражданка Октябрина Смирнова.

Родителям новорожденной, тов. Смирновым, завещаем воспитывать в дочери друга всех угнетенных, борца за освобождение трудящихся, твердого защитника советской власти во всем мире.

Шефу новорожденной, тов. Федотову, поручаем по мере сил помогать в воспитании новой преемницы нашего общего дела.

Новой гражданке Октябрине мы, собравшиеся на первые революционные крестины, говорим: трудящиеся всех стран — наши друзья, поработители всех стран — наши враги. Нам одинаково ненавистны цари, короли во всех концах земли. Пока не окончена всемирная борьба против капитализма, нас еще ждет впереди тяжелый труд, лишения и жертвы. Через все препятствия мы прорвемся к победе, чтобы обеспечить счастливую жизнь для наших детей и внуков.

В твоём лице мы приветствуем светлое будущее, ради которого готовы принести все жертвы и погибнуть в борьбе.

Прочти эти строки, когда созреет твой разум и окрепнет твоя воля. Вдумайся в них, проникнись этими идеями, стань в ряды борцов, и ярмо угнетения, в котором веками томилось человечество, разбей до конца.

Расти, Октябрина, и помни заветы Октября!»
И длинные столбики подпишей.

Толя дочитал и так и остался стоять молча, не двигаясь. Даже как-то жалко отдавать назад этот старый, пожелтевший лист...



— Вот это да! — сказал он наконец. — Какой наказ!

— Мне папа его знаешь когда в первый раз прочел? Когда я в пионеры поступала.

— Счастливая ты. — Толя помолчал, подумал и вдруг сказал: — Знаешь, а ведь это всем нам! И мне тоже!

— Конечно, всем, а как же, — подтвердила Октябрина.

Помолчали.

— Да-а, — раздумчиво повторил Толя, — счастливая ты. «Когда созреет разум и окрепнет воля...» — и, снова загораясь, сказал громче: — Что ж, правильно. Самое время. Мы уже не маленькие.

...Прошло немного дней, и снежным вечером, взволнованные и радостные, они возвращались вдвоем из райкома комсомола. Долго шли молча, подходящих слов как-то не находилось.

— Вот мы и выросли, Октябрь, — сказал, наконец, Толя. — Вот мы с тобой и комсомольцы. Созрел разум и окрепла воля — так? Будем исполнять наказ.

* * *

Теперь пора Октябрине узнать свою судьбу. Давно она ее выбрала, долго ждала — и сейчас никак не одолеет волнения. То ходит по комнате, то бесцельно перебирает книги, и на лице ее решимость вдруг сменяется растерянностью, почти испугом: примут или не примут?

— Ложись, дочура, а то будешь завтра бледная, так у тебя и заявление не возьмут.

— Правда, мамочка. Сейчас лягу.

Вскочила она, когда затканное морозными узорами окно только еще начинало синеть.

— Что ты как рано? Ведь еще и будильник не звонил, — сонным голосом спросила Зинаида Николаевна.

— А вдруг он стал?

— Да нет же, слышишь — тикает.

...Когда она подошла к аэроклубу, на крыльце еще и снег не был примят.

«Неужели первой пришла?» — обрадовалась Октябрина, и тут только разглядела на дверях лист бумаги. Было еще довольно темно, она с трудом разобрала крупные печатные буквы:

ПРАВИЛА ПРИЕМА

Нет, не может быть, она чего-то не поняла!

Октябрина еще и еще перечитывала объявление. Как же так? Только с восемнадцати. Что же теперь будет? Как же она теперь? Неужели еще три года ждать? Три года!..

— Да ты не расстраивайся, — услышала она и обернулась. Пока она тут стояла, на крыльце собралось уже много народу. Говорил высокий плечистый паренек. Рядом с ним стояла очень похожая на него девушка и не сводила глаз с объявления. — На будущий год поступишь, — продолжал паренек. — Слышь, Ольга? Кончишь школу и поступишь.

В эту минуту дверь распахнулась, и молодежь всей гурьбой влилась в ярко освещенный коридор. Октябрина осталась одна на опустевшем крыльце.

Кончено. Куда бы она ни пошла, куда бы ни написала, в этом году ей в летной школе не быть. И на будущий год тоже. Три года ждать... Еще три года!

Чья-то тень легла перед нею на утоптаный снег. Она подняла голову. Толя.

— Ну ничего, Октябрь, — начал он. — Ведь ты твердо решила. И ждала целый год. Хватило же выдержки. Теперь надо ждать еще. Кончишь школу — и поступишь.

— Все равно, — сказала Октябрина и коротко взмахнула стиснутым кулаком. — Хоть через три года, хоть через пять. Все равно буду летчицей.

— Конечно, будешь.

Они молча шли рядом. Поглощенная своими мыслями, Октябрина не замечала, что Толя сегодня какой-то особенно хмурый. Она не подозревала, что ее ждет еще одна беда.

— Неправильно это, что только с восемнадцати, — сказала она наконец. — Мы же не маленькие.

И готовились и закалялись. Правда, неправильно? Толя!

— Что?

Как он может сейчас не слушать ее!

— Толя, ты что? О чем ты думаешь?

— Я? Да нет, ничего.

— Как ничего? Я же вижу.

— Тебе показалось.

Это просто нехорошо. Как он может в такой тяжелой для нее час даже не слушать ее?

— Не хочешь говорить — не надо, — и она быстро пошла вперед.

Толя в растерянности даже приостановился на минуту. Потом кинулся вдогонку.

— погоди, Октябрь! Послушай...

Октябрина замедлила шаг, но головы не повернула.

— Я не хотел тебе говорить. Понимаешь, пришла телеграмма... Мама очень заболела. Зовет меня.

— Ну и как же ты? — упавшим голосом спросила Октябрина.

— Да что... поеду. И отец говорит — надо.

— Надо, конечно...

— Конечно. Больная ведь...

— А когда поедешь?

— В этот выходной, — сказал Толя.

— Так скоро?

— Скоро. Два дня осталось.

И опять они идут молча, опустив головы и не глядя друг на друга. Как же так? Расставаться? И уже через два дня...

— Толя, ты мне напиши про маму.

— Ладно, напишу.

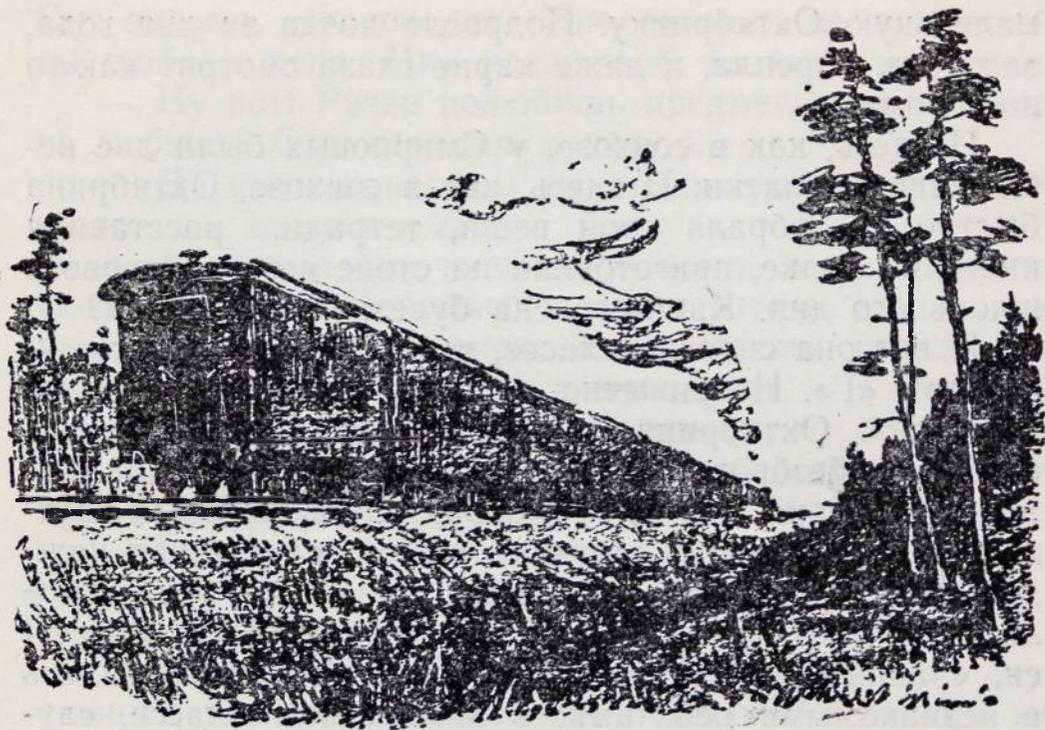
— А вообще будешь мне писать?

Он ответил не сразу:

— Вообще? Вообще, знаешь, не уверен. Я что-то не мастер на письма. Но...

Они одновременно подняли головы и взглянули друг другу в глаза. И Толя договорил:

— Но мы с тобой встретимся опять. Как же иначе? Обязательно встретимся!



III. ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ

Пыхтя и отдуваясь, паровоз взял с места. Остается последний перегон. Еще немного — и Чкалов.

Далеко позади осталась Брянщина, родные места, с которыми она успела заново свыкнуться. Но хоть и родные те места и много там было хорошего, а этот край Октябрине тоже как родной. Жалко, правда, что отец уже не в совхозе имени Калинина, а в самом Чкалове, но наконец-то они снова будут вместе. И наконец-то снова степь кругом, куда ни погляди. Да, хороши и могучие брянские леса, тенистые поляны, ледяные ключи, хороши. Но куда милее неоглядная степная даль, ширь, простор. И, может быть, по-новому повернется ее судьба в городе, который носит теперь имя удивительного, самого лучшего летчика. Здесь она уж непременно поступит в летную школу... Скорей бы, скорей бы Чкалов!

На вокзале их встретил отец. В девочке, которая кинулась ему на шею, он с трудом узнал прежнюю

маленькую Октябринку. Подросла дочка за два года, загорела, окрепла, и даже карие глаза смотрят как-то по-новому.

И здесь, как в совхозе, у Смирновых были две небольшие комнатки. И здесь, как в совхозе, Октябрина быстро разобрала свои вещи, тетради, расставила книги на полке, приготовила на столе все для первого школьного дня. Какая-то она будет, новая школа?

И вот она снова в классе, в своем новом классе — девятом «Г». Непривычно — здесь не парты, а столы на троих. Октябрина оказалась за одним столом с толстой безбровой Соней Овечкиной и с Лидой Мишукиной. Соня с виду — добрая душа, розовые круглые щеки и говорит мягко, с ленцой, растягивая каждое слово. А Лида — живая, крепкая, подвижное лицо, крупный рот, темная коса через плечо. Кажется, славные обе. А все-таки странно опять сидеть с незнакомыми ребятами, в незнакомом классе, слушать незнакомых учителей. И о ней никто ничего не знает. Надо все начинать сначала.

И вот она прислушивается, присматривается, по дороге домой — а возвращаются они, как и сидят, втроем, — расспрашивает Соню и Лиду о ребятах, об учителях. Лида рассказывает много, охотно, сразу видно — болеет за класс. А Соня... Соня, наверно, и сама никогда не горячится и подругу иногда осаживает, чтоб не увлеклась.

— У нас Анна Алексеевна такая необыкновенная, такая умная! — говорит Лида. — Ее вся школа боится. А Илька Ришман — ну, высокий, худой, перед нами сидит, — он ее знаешь как зовет? Смерть зубрилам! У нее по учебнику не ответишь, сам соображай.

— Что зубрилам — она всех в страхе держит, — неторопливо вставляет Соня. — Такой язычок...

— Ну и что, что язычок? Все равно она хорошая. Была бы она у нас классной руководительницей — совсем другая жизнь была бы. А то с нашей Марьяшей... Ну, с Марианной Степановной, химичкой, — вот погоди, ты скоро ее сама разглядишь... Такая тоска! И ей до нас дела нет, и мы ее терпеть не можем.

Она знаешь, как говорит? Мне, говорит, не надо, чтоб вы любили меня. Мне надо, чтоб вы химию любили.

— Ну вот! Разве полюбишь предмет, если учителя не любишь? Странная она какая-то...

— Да уж, с классным руководителем так не повезло... — вздыхает Лида.

— А на что она нужна, — опять лениво вмешивается Соня. — Подумаешь, руководитель. Мы и сами не маленькие, разберемся. И какой она вообще педагог — третий год всего и преподает.

— Ну, это еще ничего не значит, — возражает Октябрина. — У нас в Дятькове тоже химичка молодая, а какая хорошая...

— Вот ты погоди, сама увидишь.

* * *

Идет урок химии. Марианна Степановна со скучающим видом просматривает список. «Бывают же такие лица, — с недоумением думает Октябрина, — кажется, его отроду не трогала улыбка, и глаза эти ни разу не раскрылись во всю ширь, чтоб прямо и с интересом взглянуть на людей. Скучное лицо, без возраста, без огонька, ей все — все равно, ничего она не любит. Ну и мы ее не любим».

— Продолжаем повторение. Летаева, к доске.

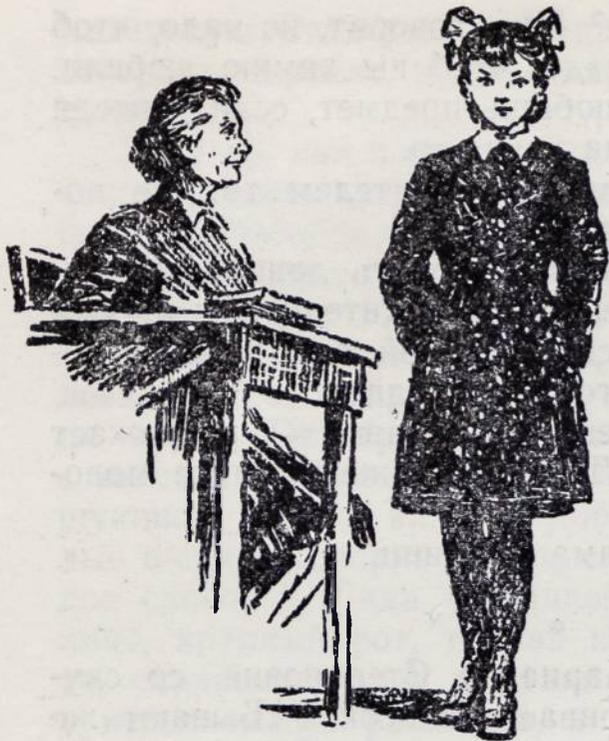
Таня Летаева, стуча каблучками, идет через весь класс к доске. Повернувшись лицом к классу, наскоро оправляет оборочки на плечах, поджимает губки, тарашит голубые глаза, подымает брови так, что они совсем уходят под челку, и несколько раз мотает головой из стороны в сторону. Это короткое драматическое представление должно обозначать ужас. Но классу и так понятно, что Татьяна, по обыкновению, ни бэ, ни мэ.

— Охарактеризуйте группу галоидов, — не взглянув на Татьяну, роняет Марианна Степановна.

Пауза.

— Галоиды?.. Галоиды... Их четыре, и они все похожие... то есть родственные. Употребляются в промышленности на лекарства.

Татьяна умолкает. Она молчит так долго, что Ма-



рианна Степановна, наконец, поднимает голову от журнала.

— Дальше?

Татьяна молчит, вскидывает невиннейшие голубые глаза и, скользнув по рядам не слишком сочувственных, но явно заинтересованных физиономий, с надеждой останавливает взгляд на своей соседке по «камчатке» Тамаре Бугровой. Тамара-то, конечно, сочувствует, но много ли подскажешь с «камчатки». Да и много ли может подсказать Тамара...

— Дальше, Летаева. Перечислите галоиды.

— Хлор, иод, бром, — бодрой скороговоркой сыплет Татьяна, — и...

Снова томительное молчание. Но в лице и в позе Летаевой никакого уныния. Не впервой.

— Не слышу четвертого, — скучным голосом произносит Марианна Степановна. — Вы же сами сказали, что к группе галоидов относятся четыре элемента.

— Четыре, Марьян Степанна, это я просто на минуточку спуталась. Конечно, четыре. Хлор, иод, бром и... валерьянка.

Хохот. Такой хохот, что даже не слышно, как Марианна Степановна с некоторым недоумением переспрашивает:

— Что? Что вы сказали?

Но Татьяне уже все трын-трава: все равно ведь не вспомнишь, что там четвертое. Так хоть людей посмешишь!

— Ой, вру, Марьян Степанна, это я нечаянно

ошиблась. Ей-богу, там все лекарства... Сейчас, сейчас... Хлор, иод, бром и нашатырь.

— Ой, помираю, — почти полным голосом, в точности повторяя Татьянину интонацию, говорит под общий хохот Илька Ришман и ложится головой на стол. — Дайте мне бром, нашатыря и валерьянки!

Октябрина задыхается от смеха и от изумления. Ничего, ну, ничего не понимаю! Девятый год учусь, в четвертую школу перешла, а такого еще не видела!

— Девочки, Лида, — шепчет она. — Да что же это?

Лида сидит вся красная. Но не от смеха. Ей, оказывается, не смешно. Во всем классе — только ей. Ну и, конечно, Марианне Степановне. Летаева — та давно хохочет вместе со всеми.

— Опять не выучили, Летаева. Опять ничего не знаете, — скучно говорит Марианна Степановна, наклоняясь к журналу. — Очень жалею, что не настояла, чтобы вас оставили на второй год.

Татьяна, постукивая каблучками, бодро возвращается на место.

— Подумаешь, на второй год. Каждый год обещают. Очень я испугалась, — безмятежно говорит она Тамаре и неторопливо усаживается, не забыв расправить свои оборки.

На перемене Октябрина снова с недоумением спрашивает соседок:

— Девочки, да что же это с Летаевой? Она всегда так?

— Всю жизнь, — отвечает Соня. — От рожденья лодырь. Так и перетаскиваем ее из класса в класс.

— Да нет, не то что лодырь, просто она ужасно легкомысленная, — вступилась Лида. — Понимаешь, она все в заводской клуб бегаёт, в драмкружок, а о классе совсем не думает. Вот и тащим ее на буксире.

— А ей только того и надо, — сердито вмешалась подошедшая к ним смуглая и румяная Галя Харбинова. — Ты из-за нее волнуешься, как бы класс не подвела, а ей на класс наплевать. Вон, полюбуйся на нее.

Октябрина и Лида обернулись. У дверей стояла Летаева и, смеясь, размахивая руками, что-то рассказывала Тамаре Бугровой и высокому парню с лихим белобрысым чубом, Володе Горелову. Октябрина уже знала, что он первый физкультурник в школе и даже завоевал городское первенство среди юношей по бегу на тысячу метров. Да, не похоже, чтобы Татьяну Летаеву очень угнетало новое «плохо» по химии.

Следующий урок — литература. Не успел дозвониться звонок, все уже на местах.

Невысокая, коренастая, в неизменном синем костюме, энергичной, почти мужской походкой вошла в класс Анна Алексеевна.

— Здравствуйте. Садитесь.

Зоркие небольшие глаза мгновенно обежали класс, все заметили: кто оживлен и готов вот-вот вскочить, кто уткнулся носом в стол и усиленно избегает ее взгляда.

— Ну хорошо, друзья мои. Продолжим наш разговор. Летаева, вы готовы?

— Готова, Анна Алексеевна, — следует не слишком уверенный ответ.

— Пожалуйста к доске.

Стуча каблучками, Татьяна идет по проходу. Но, повернувшись лицом к классу, она уже не охорашивается и ничего не сигнализирует глазами. Это вам не химия.

— Итак, — невозмутимо говорит Анна Алексеевна, — сегодня мы продолжаем разбираться в образах романа. Но сначала, вы уж не взыщите, Летаева, мы попросим вас напомнить нам некоторые подробности. Скажите, каким перед нами впервые предстает Обломов?

— Ну, он сперва очень хороший мальчик. Ленивый только, даже чулки сам натянуть не может, его Захар одевает, — преспокойно отвечает Татьяна, радуясь простому вопросу.

— Значит, по-вашему, роман Гончарова начинается описанием детства героя?

Татьяна молчит. Опять что-то не то сказала. А с чего же начинается, если не с детства? В классе тишина,

на лицах ребят — ни улыбки, ни сочувствия. Это вам не химия.

Острым молодым глазом из-под седеющих бровей смотрит Анна Алексеевна на виноватую улыбку Летаевой.

— Прочесть, конечно, некогда было? — спрашивает она тоном глубокого сочувствия.

Ох, как хорошо известно это сочувствие классу. Нет, никто не хотел бы оказаться сейчас на месте Татьяны.

— Опять драмкружок? Мечтаем стать актрисой... — опершись подбородком на руку, слегка прищурясь, Анна Алексеевна внимательно смотрит на Татьяну. — Неужели вы всерьез думаете, Летаева, что на сцене нужны такие невежды? Станиславского вы когда-нибудь читали?

Молчание. Долгое, тягостное.

— Тоже, конечно, не читали. А следовало бы. Что вы знаете о том, как спрашивал Станиславский с актера? Как относились к своему искусству великие русские актрисы? Ермолова, Комиссаржевская.. А Яблочкина, Корчагина? Разве вы понимаете, как они готовятся к спектаклю? Зато как играют! Я недавно видела «Лес» в Малом театре. Какова Гурмыжская — Яблочкина! А ведь старуха, старше меня.

Глядя на Анну Алексеевну, никто сейчас не помнит, что она старая. Так блестят ее глаза, такое увлечение в ее голосе.

— Искусство, дорогая моя, это труд великий. Прекрасный, вдохновенный, но прежде всего труд. А вы, кажется, собираетесь так и остаться попрыгунчиком?

Не дождавшись ответа, Анна Алексеевна отворачивается, коротко машет рукой. Это означает: отправляйтесь, Летаева, на свою «камчатку».

* * *

— Папка дома? — спросила Октябрина, едва переступив порог.

— Дома, дочура, без тебя обедать не садимся. А ты что как поздно?

— Классное собрание. Вот слушайте. Дали мне, наконец, нагрузку. — Октябрина рассказывала, на ходу стаскивая пальто, берет, ей не терпелось скорей все выложить. — Такой был день! Понимаете, ухитрилась за один день два «плохо» схватить!

Николай Васильевич в изумлении поднял голову, а Зинаида Николаевна даже руками всплеснула:

— Как же это ты?

— Да нет, мамочка, не я! Есть у нас такая Таня Летаева. Я ее теперь буду подтягивать. Вот!

— Хороша, видно, ученица, — самым серьезным тоном сказал Николай Васильевич.

— Ребята возмущаются ужасно, говорят, каждый год такая история. Говорят, она очень ленивая да еще хочет быть артисткой, вот и не учиг уроков. А по-моему, не может быть... Так провалиться! Нет, наверно, она просто ничего не понимает. Надо ей как-то получше объяснять.

— А справишься ты? На такую сколько сил надо положить, — покачала головой Зинаида Николаевна.

— Ребята тоже спрашивали, не трудно ли мне будет. Но не могу же я ничего не делать. А вот Галя Харбинова, я вам про нее рассказывала... Сперва Летаеву ей хотели дать, она очень хорошо учится... Так она — ни за что! Говорит, довольно нам эту лентяйку вытаскивать, не будет сама учиться — пускай вылетает из школы. Потом к Ильке Ришману хотели прикрепить, а он руками разводит. Говорит, я ей в прошлом году вдалбливал, вдалбливал, — ничего не воспринимает. И вдруг Лида спрашивает: а Смирнова не возьмется? Я даже испугалась. Уж если ей Илька втолковать не может... Он, знаете, как объясняет... Но ведь не откажешься, сколько времени прошло, а я ничего не делаю.

— А может быть, она и впрямь лодырь, эта Летаева? Почему о ней так худо говорят?

— Не знаю, пап. Неужели девятый год просто лодырничает?

— Да ведь и это бывает.

— И как же тогда? Неужели правда из школы гнать?

— Ну, нет. В вашем возрасте рано человека со счетов сбрасывать. Сперва ты ее раскуси, а там видно будет.

* * *

«А попробуй, раскуси ее», — думает Октябрина, вспоминая слова отца.

Вот уже сколько времени она занимается с Летаевой, а толку? Ведь не раз, не два помогала она прежде отстающим, и никогда еще это не было так трудно и так... досадно! Да, Октябрина снова и снова ловит себя на этом чувстве. А ведь чем-то Таня понравилась ей с первого дня. Нет, конечно, она не тупица. Живая девчонка, подвижная, острая на язык, любит поддеть, передразнить, в перемену там, где она, всегда шум, смех. А на уроках словно другой человек — сонная, вялая, равнодушная. Или балаганит, кривляется. И ничем ее не проймешь. Кажется, только один раз ее и задело — давно еще, когда Анна Алексеевна назвала ее невеждой и попрыгунчиком. Зло сказано, но ведь в этих двух словах вся Танька.

Вся? Неужели вся? Нет, все-таки не может этого быть. Ведь говорил папка... Но что с ней делать, чем ее взять? Не понимаю...

А вот и она. Разделась в передней и входит розовая, веселая, расправляя на лбу аккуратный завиток челки.

— Слушай, Иночка, — начинает она скороговоркой, едва успев поздороваться. — А чего это ты на литературе вчера так раскипятилась? Мы уж с Тamarкой думали-гадали, чего ты на Володьку напустилась — прямо понять ничего невозможно!

Октябрина невольно морщится.

— Ну, что ж тут непонятного? Не могла Любонька уйти к Бельтову. Даже просто из чувства долга не могла.

— Подумаешь, долг. Ты еще скажи — из принципа! Ну и не ушла, а толку? Может, кому от этого хорошо стало?

Хорошо? Нет, стало плохо. А вот Толина мама ушла, и тоже всем плохо. И Толе хуже всех.

— Нет, а по-моему, Володька верно говорил, — гнет свое Татьяна: — Раз она его любит!

Спокойствие изменяет Октябрьне. Опять, как и вчера, как уже не раз бывало на тех уроках, когда Анна Алексеевна вызывает ребят на жаркий спор, на столкновение их собственных, в споре рожденных мыслей, она горячится, стучит кулаком по коленке, по столу, слова обгоняют друг друга:

— Что с того, что любит? Значит, больше ни до чего и дела нет? А ты понимаешь, что это предательство?

Таня даже руками развела:

— Да ну тебя, ты прямо какая-то сумасшедшая. Мы же о книжке говорим. Ну, Круциферский, ну, Бельтов... Нам-то что? А ты того и гляди кому-нибудь глаза выцарапаешь. Слова-то какие — преда-ательство!

Нет, конечно, ничего она не понимает эта Татьяна!

А Октябрьне? Нет, и ей еще долго думать, путаться, спорить с собой и с другими. Не всегда это просто — разобраться в самом трудном и самом важном: когда прав и когда не прав человек.

— Ладно, — машет она рукой. — Давай заниматься. Тригонометрию сделала?

И сразу лицо у Тани становится скучное-прескучное.

— Не выходит у меня

— А ты решала?

— Понимаешь... Я посмотрела, задачки очень трудные... а еще по истории сколько читать...

— А ты читала?

— Читала... один раз...

— Ну, тогда историю потом проверим. Сперва покажи, как задачи решала.

Медленно, неохотно Таня достает тетрадь. Ничего она, конечно, не решала. На первом же вопросе споткнулась — и бросила.

— Что ж ты?

— Ничего я не понимаю. Ты мне лучше покажи.

Октябрина с невольным вздохом отодвигает тетрадь.

— Слушай, Таня, сколько можно? Мы ведь договорились, что ты сперва попробуешь разобраться сама.

— Пробовала я, — уныло тянет Татьяна. — Раз у меня не получается...

— Где ж ты пробовала? Только начала... Посиди-ка еще, подумай.

Ничего не поделаешь. С обиженным видом Таня берется за тригонометрию. У Октябрины на сегодня уже все приготовлено, можно пока почитать.

Но, не успев раскрыть книжку, она поворачивает голову: в дверь тихонько стучат.

— Ленька, ты? Заходи.

Ленька — ее приятель и подшефный. Ему десятый год. Он стоит на пороге, красный, запыхавшийся, и подозрительно косится на Таню.

— Октябрина, знаешь что...

— Что? Скорей говори, нам заниматься надо.

— Я на минутку. Ты мне стишок сочини. Только прямо сейчас.

— Здравствуйте! Какой стишок? Зачем?

— Я с ребятами поспорил, что сочинишь. Скорей только.

— Чудак ты, — смеется Октябрина. — Вот выдумал. А если я не сумею?

— Ну, не сумеешь. Ты все умеешь. Только скорей, ребята ждут.

— Какие ребята?

— Из дома восемь. Я им сказал: с вашего двора никто так не может. А наша Октябрина может. Ты скорей сочини, а то всему нашему двору будет позор.

Ну, если всему двору... Как тут отказаться? Впрочем, пока Таня разбирается в задаче... Октябрина кладет поверх книги листок бумаги, задумывается, потом быстро пишет. Ленька стоит рядом, смотрит то на листок, то на Октябрину круглыми глазами и деликатно посапывает носом.

— Ну слушай, — говорит ему Октябрина и вполголоса, чтобы не мешать Тане, читает:

Утром мама разбудила
И сказала: «Выпал снег»
Взрослым снег совсем не диво,
Это радость не для всех.

Сунул ноги я в калоши,
Шапку на ухо надел —
И бежать. Какой хороший,
Чистый снег весь двор одел!

А братишка мой, веселый
И удалый паренек,
Привязал к ноге бечевкой
Наш единственный конек.

И по луже преогромной,
Чуть покрывшейся ледком,
Побежал, неугомонный,
Пробивая лед коньком.

— Это ты про меня? Про нас с Минькой, да? Вот здорово!

Не тратя больше слов, Ленька хватает листок — и вот уже слышно, как он несется вниз по лестнице, перескакивая через две ступеньки. И вот уже во дворе раздается победный клич:

— Ага, я говорил, говорил! Вот он, стишок! Сочинила Октябрина!

А Октябрина, обернувшись, видит, что Таня вовсе и не смотрит в свою тетрадь.

— Правда, здорово у тебя получается, — говорит она Октябрине. — Знаешь что? Сочини мне тоже!

— Да ты что? Маленькая, вроде Леньки?

— Нет, правда, Иночка, ну что тебе стоит! Ну, хоть один куплетик! Ну, я тебя очень-очень прошу!

Недоумение на лице Октябрины вдруг сменяется озорной усмешкой. Еще секунду она думает — и вдруг произносит торжественно:

Я знаю, ты любишь театр и кино,
Как я самолеты, как пьяный — вино!

Татьяна недоверчиво смотрит на нее, потом хохочет.

— Ой, Иночка! Ой, молодец! Вот здорово! Как это у тебя быстро получается!

— А у тебя-то как дела? — возвращает ее к прозе Октябрина. — Кончила задачу?

— Да я же говорю, не выходит у меня, — обиженно говорит Татьяна.

Октябрина вздыхает. Опять та же история!

— Ну, давай разбираться.

Но Татьяна явно не желает разбираться. Она мямлит, путает, позевывает, смотрит по сторонам. И вдруг ее взгляд падает на часы.

— Ужас какой! Опоздаем! Ты уж покажи мне скорей, что к чему, я запишу.

И деловито, быстро записывает решение.

«Что же делать? — почти с отчаянием повторяет себе Октябрина. — Неужели так и не научу ее работать по-человечески?»

* * *

Когда у Анны Алексеевны какой-нибудь класс писал сочинение, об этом знала вся школа. Это почти праздник, а под ложечкой живет холодок. И сегодня ребят из девятого «Г» еще во дворе окликают:

— Пишете? По Островскому? Ну, держитесь! Ни пуха вам, ни пера.

Но за минуту до звонка в класс влетает сияющий Горелов:

— Ребята, ура! Сочинения не будет! Анна Алексеевна не пришла!

Вот так новость! Кто обрадовался, а кто и огорчился, хотя, по совести сказать, таких было не очень много.

И тут в дверях появилась Марианна Степановна. Неужели химия?

Марианна Степановна проходит прямо к доске.

— Будете писать сочинение, — говорит она. — У Анны Алексеевны грипп, она передала мне темы. Записывайте.

Ничего не поделаешь, класс пожужжал и затих. Октябрина вспомнила о Тане, оглянулась. Сидят на «камчатке» две подружки и, видно, советуются — что писать? У Тамары на лице скука и равнодушие. Таня что-то быстро ей шепчет, потом отчаянно: «Эх, была не была!» — обмакивает перо в чернильницу. Ладно, авось хоть что-нибудь сообразит эта Танька. Говорили же с ней вчера про Островского битых три часа.

«Гроза». На чем остановиться? И с чего начать?

Октябрина уже не слышит, как перешептываются и вздыхают ребята, не видит плоского, неподвижного лица Марианны Степановны, которая, по обыкновению, наклонилась над журналом и не обращает внимания на класс. Не класс вокруг, а душная темная горница... жужжат мухи, жужжат злые, неотвязные попреки... Скорей бы на волю, на Волгу, скорей бы вырваться отсюда!

Но вот дописана последняя строчка. На минуту Октябрина выпрямляется, закрывает глаза. Даже в висках стучит. Как будто долго ехала в поезде — и вот он ушел, а она стоит одна на тихой платформе. Ну что ж, надо переписывать. Как-то еще посмотрит Анна Алексеевна на такое сочинение?

Она не заметила, как Марианна Степановна поднялась из-за своего стола и пошла по рядам. И вдруг услышала над собой холодный, недоумевающий голос:

— Что это вы делаете, Смирнова? Списываете?

В первую секунду Октябрина просто не поняла. Потом вся вспыхнула и растерянно посмотрела на учительницу. Она не понимала, как ответить, какими словами. И вдруг сидящий впереди Илья обернулся и сказал, в упор глядя на Марианну Степановну:

— Не может этого быть!

Класс дружно перевел дыхание. Не так уж долго училась с ними Октябрина, но все понимали: списывать она не станет.

Между тем Марианна Степановна, близко поднеся к глазам тетрадь, про себя читала это странное со-

чинение на тему «Образ Катерины». Последние строки она прочитала вслух:

Берегитесь, Дикие! Недаром
Пролилась Катерины слеза.
Величайшим народным пожаром
Разразится над вами гроза!

По классу прошел гул и замер. Чуть заметно пожав плечами, Марианна Степановна протянула тетрадь Октябрине.

— Извините, Смирнова. Я ошиблась, — и, повернувшись к классу, прибавила: — Смирнова, оказывается, у вас поэтесса. Сочинения пишет стихами. А теперь сдавайте тетради, до звонка осталось две минуты.

На перемене Октябрину окружили.

— Ты не огорчайся, — уговаривала ее Лида.

— Марьяша не вредная, просто она не сразу соображает, — вторила Соня.

Даже Тамара Бугрова вышла из своего оцепенения:

— Чего ты расстраиваешься? Извинились перед тобой — и ладно.

Но Октябрине совсем не казалось, что все ладно.

— Как она могла? Как она могла подумать, что я списываю? Как ей могло в голову прийти?

— Не знает тебя, вот и подумала, понимаешь? — объяснил скуластый, белозубый Гриша Урусов. — Не надо внимания обращать, понимаешь?

— Брось ты, Смирнова, нашла, на кого обижаться, — поддержал его Горелов.

— А какое право она имеет не знать? Классная руководительница называется! Чуть не полгода человек у нее под носом сидит, а она до сих пор не разглядела! — крикнула Галя Харбинова.

— У нее и десять лет просидишь — все равно не разглядит. Какой ей интерес? — проворчал Илька. — Нет, это правильно, Октябрина, не расстраивайся ты из-за нее, брось.

— Вот и я говорю, — снова подхватил Горелов. — Стоит ли из-за пустяков?

— То есть, как это из-за пустяков? — опять возмутилась Галя. — А если я сейчас скажу: Володька, отдавай пять рублей, которые ты у меня из кармана вытащил? А потом извинюсь: ах, я ошиблась. Понравятся тебе такие пустяки?

— Ну-у, — протянул Горелов, — это уж ты слишком. Это совсем другое дело.

— Ничего не другое. Раз я хоть на секунду подумала, что ты вор, значит, вообще не очень-то тебе доверяю.

— Вот-вот! — порывисто обернулась к ней Октябрина. — Это хуже всего: вдруг тебе не верят!

— Ну что ты, — с укором сказала Лида. — Мы же сразу поняли, что это чепуха. Никто не сомневался.

— Зато ты ей показала! — в голосе Татьяны и гордость и торжество. — Сочинение — стихами! Вот это да! Ей такое и во сне не снилось.

* * *

Кто ее знает, что снилось Марианне Степановне, а вот Октябрине сегодня не спится. Без конца ворочается она с боку на бок, без конца перебирает в памяти случившееся. Обидно все-таки. Но обида уже отступила перед чем-то другим, более важным. Почему вдруг меня отпустило? Почему как-то особенно хорошо стало, спокойно?

Да как же я сразу не догадалась: ребята!

Ведь это все-таки трудно — четвертая школа, опять новый класс, все новое. Конечно, уже привыкла. Но только сегодня по-настоящему почувствовала, какие они свои, близкие, эти новые ребята. Ведь никто не засомневался, не подумал, что и правда Смирнова может списать, обмануть. Верят. Вот это главное, самое главное: чтоб товарищи тебе верили.

Хорошие здесь ребята. А все-таки жалко старых друзей, жалко, что каждый раз приходится расставаться. Как хорошо, дружно жили они в совхозе, как часто вспоминает Октябрина свой отряд и веселый малыгинский чердак, Васю, Тосю... А Энчик? Ведь он

гораздо старше ее, и виделись-то они только летом, а разве они не друзья? Где-то теперь Энцик, когда еще они увидятся... Вот и сестры тоже — ведь не каждое лето съездишь в такую даль.

И зачем только придумано, чтобы люди разъезжались в разные стороны! Как трудно, как плохо без Толи. Они так привыкли быть все время вместе, делиться друг с другом каждой мыслью, каждой надеждой. Довольно было одного слова, одного взгляда, и каждый понимал, о чем думает, чего хочет, чем озабочен другой. А сколько раз бывало: идут по улице молча или сидят в разных углах, занимаются каждый своим — и вдруг разом поднимают голову и заговорят об одном и том же, даже одинаковыми словами начнут.

Не хватает, очень не хватает Толи. Вот уже год, как не виделись. А если бы и не пришлось тогда Толе уехать в Москву, все равно летом бы расстались, ведь она-то не могла не уехать.

Два раза Толя писал ей. Сначала — что мать выздоровела, но все равно он должен остаться с нею. Потом — что они снова живут всей семьей под Дятковом. Правду, видно, говорил про себя Толя, что на письма он не мастер — писал он так скупое, короткое. Но оба письма кончались одинаково: «Мы еще увидимся, Октябрь!»

Конечно, увидятся. Не могут они не встретиться больше. Но какая жизнь сложная. Почему так случилось в Толиной семье? Почему люди, близкие, родные друг другу, целый год должны были прожить врозь, прежде чем поняли, что врозь им жить нельзя? А они, конечно, близкие, иначе не могли бы опять быть вместе. И не почувствовала бы она по последнему Толиному письму, хоть оно и скупое и короткое, что Толе теперь хорошо.

Но как не хватает Толи. Будут ли у нее еще такие друзья?

И Лида и Соня очень славные, обе они ей по душе. А какой хороший Илька! И умный, и веселый, и какой товарищ, ни один спор, ни одно дело в классе не обойдется без него. И без Лиды, конечно. И без

Гали. Но Галка — та совсем другая, рубит с плеча, а там хоть обижайтесь на нее, хоть злитесь — пожалуйста!

А все-таки думает она больше всего не о них, а о Тане Летаевой. Об этой несносной, ленивой и легкомысленной Таньке. Что же это за существо такое? Что с ней сделаешь, как ее проймешь?

* * *

— Возвращаемся мы с Октябриной из театра, видим: навстречу такая, понимаете, веселая компания, — стараясь говорить спокойно и обстоятельно, рассказывает комсомольскому собранию девятого класса «Г» Лида Мишукина. — Кричат на всю улицу, песни поют, а голоса пьяные. Ну вот. И с ними Володька Горелов. Вот и все. Предложений у меня пока нет. По-моему, давайте сперва его самого послушаем, а уж потом будем обсуждать.

И она остается стоять за своим председательским столом, взволнованная, красная, и теребит косу.

— Правильно, пускай сам скажет!

Под перекрестным огнем возмущенных и испытующих взглядов выходит к столу Горелов.

— Да я что? — развязно начинает он. — Я пьяный не был. Это Мишукиной, верно, приснилось. Выпил немного — это да, у приятеля рождение праздновали. Так ведь самую малость. А пьяный не был. Даже странно, ребята, — выходит, и повеселиться нельзя?

Октябрина вскакивает:

— Ты, Горелов, не прикидывайся. Ничего Мишукиной не приснилось. Может, скажешь, и мне снилось? Мы ведь с ней обе тебя видели. И ты был пьян. А если не был — вел себя, как пьяный. Тогда еще хуже!

— Хватит, Горелов! Нечего группе очки втирать! Говори сразу, как было дело? — раздаются голоса.

— Ты нам объясни, как попал в эту компанию, понимаешь? — требует Гриша Урусов.

— Да какая особенная компания? Был на рождении... — уже без прежней бойкости повторяет Горелов. — Ну, выпили немножко...

— В общем считаешь, что прав? Зря мы тебя вызвали? Ясно! — И, махнув рукой, Илька предлагает: — По-моему, дать ему выговор.

— С занесением в личное дело, — уточняет Галя. — И нечего с ним нянчиться. Смотреть на него противно.

Выговор? Горелов сразу увял. Неужели выговор запишут? Да еще с занесением!..

— Правильно! — говорит Октябрина. — Обязательно с занесением. Не понимаю тебя, Володька! Ведь если б ты был прав, разве ты бы так разговаривал? Ты бы из себя выходил—как это про тебя такое подумали!

— И вообще давно пора обсудить все Володькино поведение, а не только этот случай, — перебивает ее Галя Харбинова.

— Давно пора, — повторяет и Соня. Она единственная из всех не повышает голоса. — Что это, в самом деле: тянется на одних «посредственно», от общественной работы отлынивает.

— Видно, ему на класс наплевать, — не выдерживает подобающего председателю спокойствия Лида.

Вот этого уже и Горелов выдержать не может.

— Как это наплевать? — кричит он с обидой. — Как наплевать? А кто первое место на тысячеметровке взял? Может, скажешь, я для себя старался? А в сборной по волейболу? Тоже для себя?

И тут смягчаются сердца болельщиков:

— Конечно, что уж так все на него. Как ни говори, первый физкультурник, — вступается сразу несколько голосов.

— Верно! — кричит отчаянный футболист Шурка Валежников.

И справедливый Гриша Урусов тоже говорит:

— Понимаете, если уж разбирать человека, так со всех сторон.

— Ну да, — неожиданно смеется Илька, — ноги-то у него крепкие, это мы знаем. А вот голова...

— А голова ногам в подметки не годится, — сердито говорит Галя. — Ты в прошлом году правильно его в стенгазете протащил. Помните, ребята? «Куда ветер дует, туда иду я...»

Комсомольцы смеются: всем, кроме Октябрины, памятна прошлогодняя меткая карикатура. Илька на них мастер, а Горелов у него тогда вышел особенно похож.

— Я карикатуры не видала, — говорит Октябрина, — но я тоже давно вижу: мнения своего у Горелова нет, вот что главное. Куда его потянут, туда он и пойдет. Вот и попал в подходящую компанию, нашел себе приятелей. Разве таких надо друзей искать? Эх, ты...

Выговор ему, конечно, дали.. Но без занесения в личное дело.

* * *

Назавтра Горелов с самого утра развил бешеную деятельность. Ах, так? Отлынивает, только о себе думает? Ладно, вот увидите, что такое настоящий физорг. Сбежал на базу, обо всем договорился и в первую же перемену объявил:

— Завтра в девять утра идем на лыжах. Сбор на заводской базе. Пользуйтесь, пока снег не сошел.

— Ай да Володька. Догадался! А то, правда, того гляди все растает.

После уроков Горелов окликнул Октябрину:

— Слушай, Смирнова, а ты завтра пойдешь?

— Никуда я не пойду, — ответила Октябрина и отвернулась.

Горелов опешил. Даже вчера на собрании Октябрина не смотрела на него такими сердитыми глазами. Какая ее муха укусила? И потом — что же это, не всем классом идти? Картина не та. То ли дело поголовная явка! Надо бы спросить, уговорить. А как к ней после этого подступишься? Эх, досада...

И он отошел огорченный.

— Что это ты так? — спросил Октябрину случившийся рядом Илька. — Опять врачи не пускают? А на Володьку-то ты за что?

— Не врачи. Видеть его не могу.

Они вышли вместе. Илька, по обыкновению, сунул руки в карманы куцой куртки и зашагал было в своем всегдашнем темпе, отмеряя длинными ногами чуть не по метру зараз. Но тотчас покосился сверху вниз на

Октябрину и замедлил шаг. Озабоченно сдвинул на затылок вытертую до блеска меховую ушанку, помолчал еще, подумал.

— Вот что я тебе скажу, Октябрина, — заговорил он наконец. — Был в джунглях хороший закон. Набе-докурил зверь, дали ему за это как следует — и точка. И никто больше старым грехом не колет тебе глаза. Я тут целиком и полностью на стороне пантеры Багиры.

— Что? Что ты такое говоришь, не понимаю, — спросила Октябрина, изумленно слушавшая эти загадочные речи.

— Ты Киплинга когда-нибудь читала?

— Нет, я, конечно, понимаю, что это ты из «Маугли». Только с чего вдруг?

— Знаешь, когда я маленький был, я жил у дяди, — сказал Илька словно бы и не в ответ Октябрине. — Там любили наказывать солидно, каждое лыко в строку ставили и по семьдесят семь раз напоминали: вот, мол, ты какой нехороший. А лет восьми прочел я эту самую историю — как Багира отколотила Маугли, а потом посадила его к себе на спину и повезла от бандерлогов назад в джунгли... И так, скажу тебе, позавидовал! У бабушки-то мне по-другому живется. А в те времена — ой-ой! Поневоле назло сделаешь...

Илька помолчал, посмотрел сбоку на Октябрину. Встретил и сочувственный и растерянный взгляд.

— Что, и сейчас не понимаешь, к чему я это все плету?

Нет, теперь она уже, конечно, понимала: это о Горелове. Но можно ли сравнивать?

— Ты не удивляйся, что я так, — ответил Илька на то, что он прочел в глазах Октябрины. — Володька — он, конечно, больше насчет бицепсов и прочей мускулатуры, а все-таки в каждой шкуре, даже в самой толстой, свое тонкое место есть. Думаешь, его вчера не проняло? Еще как! Ну и хватит с него.

— Не буду больше! — сказала Октябрина. — Честное слово, Илька, не буду!

Они остановились на углу и с минуту молча глядели друг на друга, — хрупкая светловолосая девочка

и долговязый парнишка с черными, как угли, глазами на худом, узком лице.

— Не обижаешься, что я тебе такую лекцию прочел?

— Что ты, Илька!

— Значит, идем завтра на лыжах?

— Значит, идем! — весело ответила Октябрина.

* * *

Под утро ей приснился совхоз, пионерский костер. Он разгорался все ярче и ярче, искры летели под самое небо.

Октябрина глубоко вздохнула, открыла глаза — и сразу зажмурилась. Слепит! Костра уже нет, откуда же столько света? И вдруг поняла — солнце. После долгих пасмурных дней — такое солнце!

Она вскочила, подбежала к окну. Нет, это уже не сон. Еще недавно они ходили в лыжный поход, еще вчера все вокруг покрывал ровный чистый снег. И вот за одну ночь погода переломилась, и теперь за окном бурная, внезапная, настоящая степная весна. Рывком Октябрина распахнула форточку, и в комнату хлынул шум и гомон: лило с крыш, с подоконников, с карнизов, звонко обламывались сосульки, бежали по двору ручьи, и, судя по крикам и веселой перебранке, Ленька и Минька с приятелями уже готовили к спуску на воду мощную флотилию спичечных коробков. Тут же вертелся верный спутник Ленькиной жизни — белый черноухий Тобик. Вертелся до тех пор, пока не разгрыз от чрезмерного усердия быстроходный флагман с трубой из окурка. За это его, разумеется, с позором прогнали, и вот он сидит в самом углу двора — жалкий, обиженный. Ах ты, бедный зверь.

Накинув платок, Октябрина высовывается в форточку:

— Тобик, Тобик! — зовет она.

Тобик отчаянно вертит головой. Откуда это зовут?

— Тобик, ну, глупый ты зверь! — слышит он хорошо знакомые слова.

Ага, догадался: задрал нос к окну второго этажа — и благодарно запрыгал, завилял хвостом. Наконец-то

обратили на собаку внимание, а то так и затосковать можно.

— Тобик, лови!

Тобик на лету хватает кинутый привычной рукой кусок сахару. Потом вкусно облизывается и отходит в угол. Теперь можно и подождать, пока хозяин снова не вспомнит о тебе.

Так начался этот день. И в школе все было как-то особенно легко, весело, по-весеннему. Когда в перемену открывали окна, в класс вривалась радостная свежесть, и откуда-то, должно быть из недалекого парка, притекал неповторимый горьковатый запах талого снега, умытой древесной коры, прошлогодних листьев и молодых набухающих почек. И от этого запаха на душе становилось тревожно и хорошо.

И уж, конечно, никто не огорчился, когда оказалось, что черчения не будет и можно уйти домой на час раньше. А Таня — та просто в восторг пришла:

— Ох, вот это повезло! Знаешь, Иночка, это как раз для меня, ведь у нас сегодня репетиция.

И только ее и видели.

Октябрине сегодня тоже повезло: отец вернулся домой раньше обычного, веселый, довольный. Это значило, что комиссия, приехавшая из Москвы, утвердила новую породу овец. Породу вывели в одном из совхозов треста, где он теперь работал, было с нею много хлопот, последнее время отец и дома-то почти не жил. Наконец-то посидят вечер все вместе, расскажут друг другу обо всех своих делах.

Но разве все сразу переговоришь? Кажется, и половины не успели рассказать, — стук в дверь.

— Опять, видно, тетя Маша идет про вязанье свое советоваться. По стуку слышу — она, — огорчилась Зинаида Николаевна.

Она так любила эти вечера втроем, так редко выпадали они на ее долю: то Октябринка до ночи занята, то муж... Не хотелось ей сейчас видеть никого постороннего.

— Скажи, дочура, что нет меня. И не скоро, мол, будет.

Октябрина покраснела и замотала головой, легкие светлые волосы упали на глаза. Ей тоже не хотелось, очень не хотелось нарушать этот вечер. Но сказать неправду... И она жалобно поглядела на мать, но не двинулась с места.

Чуть заметная улыбка скользнула по лицу Николая Васильевича.

— Ладно, мать, выручу тебя, — сказал он, вставая из-за стола. — Так и быть. А уж на дочку ты в таких делах не рассчитывай. Обязательно подведет.

Но Зинаида Николаевна ошиблась: стучалась не тетя Маша, а Таня Летаева.

— Была репетиция! — затараторила она, вытащив Октябрину за дверь. — В выходной играю. Ох, и страшно!

Это она кокетничала, ничего ей не было страшно.

— Слушай, Инка, — торопливо продолжала она, встряхивая челкой и тараща для внушительности глаза, — а послезавтра у нас еще репетиция. Генеральная! И Валентин Павлович, режиссер, позволил, чтоб вы пришли тоже. Тамарка с Володькой придут. И ты, смотри, приходи. С Лидкой. Смотри, Иночка! Даже и слушать ничего не буду. Не придешь — обижусь на всю жизнь.

Ну, как же можно обидеть человека на всю жизнь! И через день после уроков Тамара, Володя, Лида и Октябрина отправились в клуб завода-шефа посмотреть генеральную репетицию «Горя от ума» с Татьяной Летаевой в роли Софьи.

* * *

Знай Татьяна, чем кончится эта репетиция, нипочем бы она никого не позвала.

Оказалось, мало иметь голубые глаза, смазливую подвижную рожицу и звонкий голос, мало мечтать об успехах, аплодисментах, о столичной сцене. Чем дальше, тем все с большим недоумением смотрели одноклассники, сидевшие на репетиции среди немногочисленной публики, на кокетливую и вздорную, совсем не грибоедовскую Софью. Если она такая, как же не

разглядел ее Чацкий с самой первой минуты? Почему полюбил? Из-за чего страдает?

Октябрине вспомнилось Дятьково, седьмой класс, Грибоедовский вечер. Как они тогда заспорили с Толей.... Конечно, Софья не стоит любви Чацкого. Но ведь он потому и полюбил ее, что она не совсем такая, как все эти княжны Мими и Фифи. А у Тани что получилось?

Аплодисменты были довольно сдержанные. Вызывали Фамусова, Лизу. Раза два крикнули Чацкого. Софью не вызвали ни разу.

Кончилась репетиция. И сейчас же режиссер — немолодой, лысеющий, с сердитым лицом — сказал Тане:

— Тут ведь присутствуют ваши школьные товарищи? Попросите-ка их сюда и зайдите все вместе ко мне.

Через минуту в крошечном фанерном закутке у Валентина Павловича произошло то, чего Таня Летаева никак не ждала.

— Ну как, друзья, понравился наш спектакль?

Маленькая неловкая пауза. Совсем маленькая. Потом Владимир говорит тоном знатока:

— А что ж, здорово!

— А вам понравилось? — обращается режиссер к девочкам.

И снова короткая пауза. Вообще-то понравилось. Но Тамара — по дружбе, Лида — по доброте душевной просто не в силах сказать о том, что для них в этом спектакле всего важнее. А Октябрина? Да и она не в силах вот так сразу об этом заговорить.

— Вообще-то понравилось, — нерешительно произносит она.

— А в частности? Как вам понравилась ваша подруга Софья?

Ну что тут скажешь!

И тогда режиссер поворачивается к Тане. Она, конечно, не очень довольна приемом, который оказала ей публика на генеральной репетиции, и сейчас она несколько недоумеваает: чего это добивается Валентин

Павлович? Но она и сейчас еще не подозревает, что ее ждет.

— Видите, Летаева, ваши товарищи своим молчанием вынесли вам самый жестокий приговор, — говорит Валентин Павлович.

И сразу спокойствие и сдержанность изменяют ему.

— А я ведь говорил вам, предупреждал. Разве это Софья? Пустопляс какой-то. Предлагал я вам Лизу — не пожелали. Да ведь у вас и Лиза не выйдет. Ничего у вас не выйдет. И в легкой роли есть свой серьез. А у вас что же это, матушка, все поверху? Да разве, на вас глядя, можно понять, чего ради Грибоедов все это написал? Из-за чего весь сыр-бор загорелся — разве поймут люди?

Школьник и четыре школьницы, одна — еще в гриме, стоят перед ним одинаково красные, расстроенные, потерянные. Нелегко выслушать такое. О товарище — не легче, чем о себе.

— Для того я вас и выпустил сегодня, — продолжает режиссер. — Для того и товарищей ваших позвал. Может, их суду поверите, если мне не верили. А я вам при них говорю: не выйдет из вас актрисы. И таланта нехватка, и серьезности нет. Вам ведь еще год в школе остался? Вот и ищите себе такое дело, которое и вас заберет всерьез и в котором от вас толк будет. А тут вы и в дублеры не нужны. Софью послезавтра Никишина сыграет. Все. Не взывайте.

И, оставив Татьяну смывать размазанный слезами грим, он вышел из закутка.

* * *

Налетает порывами озорной весенний ветер, нет-нет и постучится в окно, зазвенит стеклом.

А в комнате тихо, горит одна настольная лампа. Свернувшись в любимом уголке дивана, подобрав ноги, Октябрина читает. Не слышит ни ветра, ни громкого тиканья часов. На секунду оторвавшись, вдруг замечает, что и за стеной стало тихо: мама уже легла, отец, должно быть, готовится к докладу. Поздно, наверно... И тут же снова вся уходит в книгу...

Всегда она читает быстро, Тося когда-то удивлялась, что она так глотает книги, и даже прозвала ее книжной мясорубкой.

Да, всегда она читает залпом. А вот эту книгу не проглотить.

Еще осенью, когда класс занимался Герценом, Октябрину как-то особенно задели его то горькие, то иронические раздумья о людях тогдашней России, о трудных и горьких судьбах, о том, как жизнь увечила и плохих, и хороших, и даже самых лучших. Она спросила тогда Анну Алексеевну, что еще прочитать сверх программы, и Анна Алексеевна сказала:

— Попробуйте «Былое и думы». Не в отрывках, а все полностью. Но имейте в виду: это не легко и не просто.

Это очень не легко и очень не просто. Октябрина читает медленно. Отрывается, думает, возвращается вспять. Не все понятно. Сколько он знал, сколько видел! Все в этой книге — и философия, и история, разные эпохи и страны. Вот это, наверно, и называется быть энциклопедистом. Но главное — понятно, больше чем понятно — близко. Человек задыхался от гнева и мучки в мире, где не было ему счастья, пока несчастливы были целые народы. Задыхаясь, мечтал об этом большом счастье, о счастье для всех. И не просто мечтал. Боролся за это счастье, за будущее... Всю жизнь боролся.

И Октябрине вспоминается, как она когда-то придумывала «плохим» рассказам хорошие концы, как сердилась и огорчалась оттого, что хорошим людям в старину плохо жилось.

Как трудно он жил. И ведь были друзья, единомышленники, были кругом большие и хорошие люди. Но как мало их было. И чем дальше, тем меньше их оставалось рядом.

Он был мягок с близкими, снисходителен, ему чужды были мелкие ссоры, обиды по пустякам. Он сам говорил, что должен быть в человеке талант терпеливой любви. Как это хорошо — терпеливая любовь! Свою большую боль он мог простить и стерпеть. А ведь он был горячий, не равнодушный. Но когда доходило

до чего-то главного, самого большого, он становился непреклонен. Не прощал слабости. И не боялся остаться один. А ведь это, наверно, страшнее всего. Один... Даже представить невозможно!

Какие люди сложные, как трудно в них разобраться. Когда надо прощать, а когда требовать с человека, требовать, не жалея, не давая спуску? Ведь не скажешь, что один — весь и во всем плохой, а другой — насквозь хороший. Это только когда-то раньше, маленькой, ей так казалось. А теперь...

Вот Илька это понимает. Как он тогда с Гореловым... А ведь она тогда уже и рукой на Володьку махнула. Очень это было глупо. Посмотреть на него сейчас — хороший парень. Ну, оступился. Отругали по справедливости. Нет, с Володькой все в порядке. А вот Татьяна...

Как давно уже это было — отец сказал: нельзя зачеркнуть человека шестнадцати лет от роду. Надо понять его, раскусить, а тогда уже и поворачивать по-новому. Да, пора бы Татьяну раскусить.

Что же она такое, эта Танька?

На другой день после злосчастной репетиции Лида с Октябриной побежали к Валентину Павловичу. Должны же они были еще раз спросить его, проверить, — может быть, это он просто для воспитания, для острастки говорил с Таней так жестоко? Но режиссер только покачал головой: нет, он сказал то, что думает. Это все несерьезно, ни таланта, ни призвания у Летаевой нет. Артистки из нее не выйдет. Для того он и дал ей такой жестокий урок, чтоб она, наконец, поняла.

Да, но... поняла ли она? И как с ней теперь быть? Третий день Октябрина только об этом и думает. Ведь если сейчас как-то круто не повернуть Таню, она просто пропадет. Галка — та уже крест на ней поставила, так и говорит без пощады: зря голову ломаете, все равно вашей Таньке одна дорога — замуж. Илька, правда, сразу возмутился. Чьей это вашей? И твоей. Мы все виноваты. Сколько лет ее тянули, она же из-за нас совсем работать разучилась. Выходит, что и мы, как она, думали, раз актрисой будет, так и мозгами

шевелить не надо. Вот мы ее Октябрина дали, пускай сама скажет, что у них получается.

И пришлось Октябрина признаться, что получается очень плохо.

— Ведь если по правде говорить, так я для Татьяны просто живая шпаргалка и ничего тут поделывать не могу: не желает Татьяна думать сама.

— Не желает и не надо, — сказала Галка. — Пускай торчит в девятом второй год. А ты эту филантропию брось. Безобразие такое!

— Но как же я сейчас брошу? — даже растерялась Октябрина.

И Лида поддержала:

— Что вы, ребята, ведь экзамены скоро.

— Надо было раньше спохватываться, — хмуро сказал Илька. — А теперь, по-моему, так: перетянуть ее через экзамены и поставить ультиматум: занимайся все лето. Больше тебя за ручку водить не будем.

Еще долго они ходили по улицам, на все лады обсуждая Татьянину судьбу, — так долго, что под конец все посинели, хотя апрельский вечер был почти уже теплый. Но зато обговорили все насквозь и твердо решили, что самое время приниматься за Татьяну, а то, пожалуй, не стать ей человеком.

И вот теперь Октябрина предстоит, может быть, самый трудный в ее жизни разговор.

* * *

Так труден был этот разговор, что Октябрина никак не решалась начать его. Просто не знала, с чего начать. И когда пришла Таня, Октябрина, на минуту замявшись, спросила, как обычно:

— Ну как, все приготовила?

— Что ты, Иночка! Какие там уроки! Третий день реву, как дура.

— Что делать, Танюшка, — грустно сказала Октябрина. — Я это знаешь как хорошо понимаю...

Да, она это хорошо понимала. Совсем недавно она узнала, что прием девушек в аэроклубы прекращен. Приказ наркома. Впредь до особого распоряжения.

Кто знает, когда оно будет, это распоряжение... А ведь ей оставалось ждать не так уж долго. Только год...

И она говорит Тане:

— Подумай, как давно я хотела стать летчицей, как готовилась. А теперь почему-то девушек не принимают. Мечтаешь, мечтаешь, кажется, на всю жизнь выбрала, а потом тебе говорят: крылья короткие, не полетишь...

— У тебя, конечно, тут уж ничего не поделаешь. — Жалостная гримаса на Танином лице сменяется возмущением: — А у меня — мало ли, что он говорит! Так я и поверила! Носится со своей Никишиной. Я третий год при клубе, а до того сколько в нашем драмкружке выступала, и вдруг здрасте — таланта нет!

— Как же вдруг? Разве он тебе раньше ничего не говорил?

— Мало что он говорил! Стану я внимание обращать. Просто он придирается. Ничего, свет клином не сошелся, найду, где играть.

Вот тут уже промолчать было невозможно. Оказывается, ничего-то она не поняла, эта Татьяна, и ревела, значит, не теми слезами. Не свою несбывшуюся мечту оплакивала, а просто обижалась и злилась. Эх, Таня...

— Слушай, Таня, ну, что ты такое говоришь? Ты же сколько раз сама рассказывала, какой Валентин Павлович хороший. Если уж он наотрез говорит, что тебе не надо идти на сцену, значит, правда. Я ведь помню, когда я только пришла в нашу школу, Анна Алексеевна тебе то же самое говорила. Помнишь?

— Нашла, что поминать! Анна Алексеевна всегда ко всем придирается.

Октябрина нетерпеливо хлопнула ладонью по столу.

— Знаешь, Татьяна, прямо противно тебя слушать! Ну, что ты твердишь, как попугай: придирается, придирается. Думаешь, Тamarке с Володькой понравилось, как ты играла? Ничего не понравилось. Просто они тебя тогда утешали. Ну и мы с Лидой молчали. Жалко тебя было — и все. А вот сейчас вижу — зря жалели. Уж какой справедливый человек Анна Алексеевна, а ты и ей не веришь. Кому охота к тебе придираться? Просто все хотят, чтоб ты человеком стала.

— А чем я не человек? Вот еще новости!

— А, по-твоему, это правильно, что тебя, как маленькую, за ручку надо водить? Это по-человечески?

— Ну и не води, пожалуйста, — гордо сказала Татьяна и отвернулась.

— И зачем ты зря болтаешь? Ты бы раньше говорила: не води. Я ведь тебя целый год прошу: думай сперва сама, попробуй сама разобраться. А ты только и знаешь: ах, не могу, ах, не успела, ах, не получается. Привыкла, что всегда кто-нибудь объяснит, разжует и в рот положит. Нет, чтоб самой подумать.

— Ну и не надо, и не возись со мной, — твердила свое Татьяна. — Ну и бросай товарища в беде.

Октябрина даже кулаком себя по коленке стукнула. Что только она болтает, эта Танька!

— Ведь знаешь, ведь знаешь, что никто тебя сейчас не бросит! — с досадой крикнула она. — До экзаменов полтора месяца — кто тебя сейчас бросит? Но смотри, Танька, мы твердо решили: последний раз. Все лето будешь заниматься, как миленькая. В десятом классе никаких тебе буксиров не будет.

— Подумаешь, решили...

— Вот и решили. И вообще хватит. Садись-ка лучше за алгебру, а то еще поплывешь сегодня.

С видом оскорбленной невинности Татьяна раскрыла Киселева.

* * *

Вот он, наконец, и, десятый класс, последний школьный год.

Лето Октябрина провела в гостях у Малыгиных. Она так рада была вновь увидеть старые места, старых друзей. Она замечала каждую перемену кругом — столько всего понастроили. Ей вспомнился далекий морозный вечер в политотделе у Лацетиса, план, испещренный цветными значками. Давно уже перерос совхоз то, что тогда только еще светилось впереди счастливым обещанием. А как изменились, как выросли все! Ребята стали совсем взрослые работники, а к Демиду прямо не подступись: Анисим теперь учится в городе в техникуме, а Демид на его месте — конюх! С Тосей и

Васей они никак не могли наговориться. Столько надо было порассказать за эти три года, столько строилось планов на будущее. И так быстро, незаметно пронеслось лето. И уезжать из совхоза было так жалко. А вот сегодня, войдя в класс, Октябрина почувствовала, что и об этих новых своих друзьях успела очень соскучиться. Она так привыкла к ним за год, она всем рада, и все рады ей. Первой увидела ее Таня Летаева и с разбегу кинулась к ней на шею.

— Иночка, Инка! Ух, ты моя дорогая!

И сразу ее обступили. Какие все веселые, шумные, каждому не терпится и про себя рассказать и других расспросить. И после звонка что-то никак не устанавливается подобающая десятому классу тишина.

Понемногу все вошло в колею. Улеглись летние воспоминания, наладились занятия. Народ настроен был серьезно: как-никак последний класс, впереди выпускные экзамены. И вот в одно прекрасное утро к Октябрине прибежала Таня:

— Иночка, ты физику сделала? У меня никак задачка не получается.

— Не получается? — переспросила Октябрина. — А ты пробовала разобраться?

— Да понимаешь, вчера с Тамаркой в клуб ходили, так я сегодня проспала. Историю и литературу выучила, посмотрела физику — ничего не понятно. Ты мне объясни, пожалуйста.

Но с первой же минуты Октябрине стало ясно, что Татьяна и не пыталась разобраться сама. Задача была нехитрая, на повторение.

— Слушай, Таня, — начала Октябрина, отодвинув задачник. — Неужели ты летом совсем не занималась?

— Занималась... немножко.

— Физику повторяла?

— Ну вот еще! — сердито тряхнула челкой Татьяна. — По литературе сколько прочла, историю выучила. А от этих физик, математик у меня голова болит. Надо человеку когда-нибудь отдохнуть?

— Так, — огорченно сказала Октябрина. — Значит, начинается все сначала?

— Что сначала?

— Ты разве забыла? Мы ведь предупредили тебя: буксиров больше не будет. Учись разбираться сама.

— Иночка, голубушка, ну когда сейчас разбираться?

— Некогда? Что ж, так и останется.

— А если вызовут?

— Если вызовут, получишь «плохо».

Татьяна сделала круглые глаза.

— То есть как это? Я прошу объяснить задачку, а ты не хочешь? Хочешь, чтоб мне «плохо» вклеили? Ну, знаешь, я от тебя не ожидала.

— Напрасно не ожидала. Помнишь, о чем мы с тобой весной говорили?

— Ничего я не помню и помнить не хочу! — возмутилась Татьяна. Она вскочила и наспех, кое-как стала засовывать в портфель свою физику. — Эх ты, а еще комсомолка. Сама отличница, а мне объяснить жалко.

И она шагнула к двери. Октябрина, побледнев, стала у нее на дороге:

— Тебе товарищи сколько лет помогали — разве им было жалко? А вот ты не хочешь сама думать. Смотри, Тамара «плохо» не получает. А ведь ты способнее, все учителя говорят, а перебиваешься с «плохо» на «пос.».

Татьяна, кажется, хотела возразить, но теперь уже Октябрина не слушала:

— Для чего ты хотела в актрисы идти? Нравилось, что всех поразишь, что все на тебя смотрят? А в школе почему самолюбие не действует? Вчера над тобой на алгебре весь класс хохотал, Марианна Степановна опять плачет, что на второй год тебя не оставила. И сегодня опять посмешищем будешь. Нет, видно, правду Галка говорит: тебе одна дорога — замуж. Попрыгунчик несчастный!

От оскорбления Татьяна потеряла дар слова. Задыхаясь, она мерила Октябрину грозным взглядом.

— А, вот ты как! — крикнула она наконец. — Ну, ладно же! — И, угрожающе взмахнув портфелем, вскочила за дверь.

Замели метели. Снегу нанесло видимо-невидимо, город тонул в нем по пояс. В слободах, в одноэтажных тихих переулках тяжелые снеговые шапки нахлобучились домишкам по самые окна, и они смотрели, будто исподлобья. Когда человек приходил с улицы, с ним в дом вкатывалось плотное облако морозного пара, и он спешил скорей захлопнуть дверь. В иные дни небо на закате становилось огненным, зловещим, и тогда местное радио объявляло: «Внимание, внимание! Завтра по области ожидается буря». А в ясные дни далеко слышно было, как звенит под топором сухое полено, как поскрипывает под торопливыми шагами утоптаный снег, как где-то на другой улице кто-то задорно смеется.

И вот раннее утро 9 ноября. Кое-где после праздника еще не сняты флаги, и от них на снег, точно в час рассвета, ложится нежный, прозрачный румянец. В это безветренное солнечное утро десятый класс «Г» вышел на лыжный кросс.

Добрые две недели физорг Владимир Горелов обрабатывал всех вместе и каждого в отдельности — и уж, конечно, явка была поголовная. Даже тяжелая на подъем Соня Овечкина пришла! Даже Тамара Бугрова!

Взмах флажка. Пошли!

Весело снова стать на лыжи и почувствовать, точно они сами несут тебя. Весело слышать, видеть впереди, сбоку, сзади своих ребят, померяться с ними силой, выдержкой, уменьем.

Для Октябрины сегодня не просто лыжная прогулка, когда идешь, как хочется, болтая с друзьями, переключаясь. Сегодня все, кто не сдал раньше, должны сдать норму ГТО, а для этого надо пройти три километра за двадцать две минуты.

От быстрого хода, от самолюбивого желания непременно прийти вовремя у Октябрины разгорелись щеки. Невысокая, худенькая, — никто не скажет, что ей исполнилось семнадцать, — она с самого начала пошла крупным, уверенным шагом и многих оставила поза-

ди. Но она не рассчитала своих сил. Чем ближе к финишу, тем чаще обгоняли ее ребята.

Надо было пройти еще всего лишь какую-нибудь сотню метров — и тут она почувствовала, что задыхается. Казалось, сердце бьется где-то в горле. Она



упала. Не сразу, с трудом поднялась, медленно пошла дальше. Лыжи уже не несли ее сами, — каждая весила пуды. Октябрина еле передвигала ноги. От утренней легкости, от праздничного настроения, с которым она вышла на старт, не осталось и следа.

«Сердце? — думала Октябрина. — Нет, не то. Мало тренировалась. Да нет, не так уж мало. Как все. И вот пришла последней. После всех! Даже после Сони!

Как же так? Как же я буду?»

Строчки недавних стихов вспомнились Октябрине. Обычно, когда придумывались стихи, она записывала их наскоро на каком-нибудь листке, на клочке, только

чтоб отделаться, сразу же совала в ящик и больше не перечитывала, не думала о них. Но эти написались всего несколько дней назад, под праздник, после ее семнадцатилетия, и сейчас они не оставляют ее.

Люблю страну свою родную
И за нее в любом бою
Отдам и молодость и силу,
А если надо — жизнь свою.

Как же так? Молодость, жизнь — да, если надо — и жизнь. Но силу? Бои, конечно, будут — ведь страшно подумать, что делается в мире. Какой год! Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Франция... Половина Европы лежит под коричневой глухой и тяжелой тенью фашизма. Будут бои, они близко. Для них нужна настоящая сила. Где же она у меня? Пришла последней...

Значит, еще тренироваться. Не как все. Мне надо больше. Пускай вдвое больше. Но ничего! В следующий раз сдам. Непременно.

* * *

Через месяц она тоже пришла одной из последних. Первым, как всегда, пришел Горелов, вплотную за ним — Галя и еще через секунду — легкая и неутомимая Таня: даже быстроногого Шурку Валежникова обогнала она, даже крепкого, точно из бронзы литого Гришу Урусова. Последними, тоже как всегда, пришли Тамара и Соня. Норму сдали все.

— Какой ты молодец, Октябрина, — говорила Лида, когда они усталые, разгоряченные, не спеша возвращались домой. — Вот, что значит, когда у человека сила воли!

— Молодец-то молодец, — со вздохом ответила Октябрина, — но знаешь, Мишука, я ведь и на этот раз к финишу совсем выдохлась. Сама не знаю, как дотянула. Наверно, на одном самолюбии. Куда же это годится?

— А что плохого? На чем бы ни дотянула — все равно здорово!

— Не знаю, — в раздумье сказала Октябрина. — Правда, с Чкаловым тоже так было. Когда бензин вы-

шел, он на одном самолюбии дотянул до аэродрома. Но, честное слово, махнула бы я рукой на всякое самолюбие, только бы мне сил побольше. Какая я была бы счастливая!

— Ты еще поправишься. До аэроклуба тебе год остался. А тогда, может, ты уже совсем здоровая будешь. И девушек опять начнут принимать.

— Ты и так сегодня отшагала — дай бог всякому здоровому, — вмешался нагнавший их Илька.

— Слушай, Илька, а как, по-твоему, самолюбие — это хорошо или плохо? — спросила Лида.

— Ух, какая философия! Смотря какое.

— Ну, если оно для дела?

— Для дела я все приветствую! — объявил Илька. И уже всерьез продолжал: — Вот хлестнула Октябрина Таньку по самолюбию — посмотри на нее теперь! Как ни ковыляла, как ни оступалась, а в четвертных все-таки ни одного «плохо» нет.

— Вы только подумайте, ребята, — расхохоталась Октябрина, — ведь это она назло мне! Она с тех пор со мной и не разговаривает.

— Надо же! — с возмущением сказала Лида.

— Мозги несколько облегченной конструкции, конечно, — усмехнулся Илька. — Но все равно приветствую. На пользу ведь пошло?

— Как будто на пользу, — согласилась Октябрина. А про себя подумала: «Верно тогда Илька про Горелова сказал: и в толстой шкуре найдется тонкое место. Что ж, вот и хорошо».

А тем временем Владимир, Таня и Тамара тоже возвращались с кросса втроем.

— Наконец-то отделалась! — с облегчением говорила Тамара. — Надоело мне до смерти, завтра опять ноги будут болеть.

— Зато норму сдала, — похвалил Горелов.

— Подумаешь, норму. Это я только, чтоб тебя не подводить, а то нипочем бы не стала.

— Меня! Класс бы подвела, а не меня. Вон смотри, Смирнова и та сдала.

— Ну и зря! — заявила Татьяна. — Силенки — что у котенка, в прошлый раз как свалилась, а лезет. Сидела бы дома.

— Ясно, — поддержала Тамара. — Даже не понимаю, чего она надрывается.

— Много ты вообще понимаешь, — пренебрежительно сказал Владимир. — За класс болеет человек. И вообще зря вы, девчонки, к ней придираетесь.

— А я не придираюсь, мне что, — передернула плечами Таня.

— Знаю я! Это ты потому, что она тебя больше не подтягивает. И вон Тамарка тоже болтала, что Смирнова сама для себя отличница... Ерунда это! Она всегда помогает. А с тобой она не почему-нибудь перестала, она из принципа. И зря ты на нее злишься. Честное слово, зря.

— Ничего я не злюсь, не выдумывай, пожалуйста, — наперекор всякой очевидности возразила Татьяна и отвернулась.

На том разговор и кончился. Но после этого Октябрина в классе не раз ловила на себе брошенный исподтишка быстрый, испытующий взгляд Тани.

* * *

— Анна Алексеевна, можно, я вас провожу? — спросила Октябрина, догоняя учительницу на лестнице. — Я хотела с вами посоветоваться.

— Пожалуйста.

Они вместе вышли из школы, свернули с шумной, оживленной улицы на Пушкинский бульвар. Под обрывом, за рекою свистел декабрьский ветер, он рвался и сюда, но, как морской прибой о волнорез, разбивался о могучие стволы вековых деревьев: даже и сейчас, позимнему обнаженные, они служили надежной защитой.

Анна Алексеевна жила далеко от школы, но в любую погоду возвращалась домой пешком и всегда берегом. И редко, очень редко она возвращалась одна — всегда находились спутники, спутницы — те, кому так нужно выложить все свои сомнения, услышать добрый совет, а быть может, и суровое слово... Вот и сейчас

идет с нею чем-то взволнованная, озабоченная школьница, идет и не решается начать.

— Анна Алексеевна, — говорит она наконец, — Я все думаю, думаю... И, кажется, решила идти на литературный.

Учительница приостановилась и сквозь мелкие снежинки, повисшие на ресницах, пристально посмотрела на девочку.

— Очень рада, Октябрина. Я знаю, вы мечтали об авиации. Но я думаю, одному не помешает. Если здоровье позволит, будете летать. А к литературе у вас и несомненные способности и интерес.

— Понимаете, Анна Алексеевна, литературу я очень люблю. Очень. Вот иногда пишешь сочинение и так увлечешься — про все забудешь. Или стихи. Когда до чего-нибудь додумаешься, поймешь по-настоящему, кажется, ничего не может быть лучше. А как подумаю — если бы летать! Все отдала бы ради этого! Но ведь тут не одно здоровье, Анна Алексеевна, ведь сейчас девушек не берут. А нам всего полгода осталось.

Несколько шаговшли молча.

— Анна Алексеевна, — с отчаянием сказала Октябрина, — а ведь это очень несправедливо! Как же так? Почему вдруг девушек не берут? Ведь какие есть летчицы! Полина Осипенко как летала... А Раскова? Гризодубова? Помните перелет «Родины»? Подумайте, я четыре года ждала, и вдруг...

— Вот я вам расскажу, Октябрина, как я стала учительницей, — медленно заговорила Анна Алексеевна. — Нужда горькая заставила.



Октябрина быстро повернулась и заглянула в сосредоточенное, почти суровое в эту минуту лицо Анны Алексеевны. Этого она никак не ожидала! Неужели Анна Алексеевна пошла в школу не по призванию? Не хотела быть учительницей... Как же так?

Анна Алексеевна, в свою очередь, посмотрела на растерянную, недоумевавшую Октябрину и, невесело усмехнувшись, продолжала:

— Да, представьте. Мечтала пойти на сцену, поехать в Москву или в Петербург. Да не вышло. Отец умер. Осталось нас четверо на руках у матери. Я — старшая. Вот и пришлось бросить мечты. А утраченная мечта — горькая потеря. Нелегко с ней расстаться.

Она снова минуту помолчала. Октябрина ждала, не решаясь вымолвить хоть слово.

— Пошла учить детей, — опять заговорила Анна Алексеевна. — Пошла против воли, со страхом. И в первый же год так меня за живое взяло, что и гнали бы из школы — все равно не ушла бы. И до сих пор не отпускает. А думаете, легко с вами?

И острым молодым глазом чуть насмешливо взглянула на ученицу.

— Ой, наверно, нелегко! — от души сказала Октябрина.

— Вот то-то. И все равно. Театр, конечно, и сейчас люблю. А школу — еще больше.

Анна Алексеевна остановилась, — они и не заметили долгого пути, и теперь стояли уже у ворот ее дома, — и, снова прямо взглянув в глубокие глаза девочки, спросила:

— Поняли, к чему речь велась?

Октябрина отвечает не сразу.

«Разве я тогда не толковала Татьяне, что в жизни может быть и не одна дорога? Ну хорошо, у нее это не было призвание, а я верю, что у меня — настоящее. Но если нельзя. Что же, прийти в отчаяние, упереться лбом в стену?»

И она отвечает наконец:

— Кажется, поняла.

— Ну, бегите домой. Поздно уже.

— До свиданья, Анна Алексеевна. Спасибо вам большое!

Долгий обратный путь она тоже прошла, совсем его не заметив. То, что рассказала Анна Алексеевна, было так неожиданно, так не вязалось с представлением о ней Октябрины. Нет, к чему велась речь, это она, конечно, поняла. Но только в который уже раз она убеждается: жизнь сложнее, гораздо сложнее, чем кажется.

* * *

«Знаешь, Толь, жизнь в тысячу раз сложнее, чем мы с тобой думали. Вот ведь раньше все было ясно, все решено: буду летчицей. Помнишь, как я узнала, что до восемнадцати лет не принимают. Мне казалось тогда: хоть не живи на свете. А ты утешал, говорил: кончим школу — и примут. Вот и кончаем, а теперь почему-то девушек совсем не берут. Ну что же, я так и буду сидеть сложа руки, пока не начнут принимать? Решила — пойду на литературный.

Ты, наверно, удивляешься, думаешь — с ума сошла Октябрь, что это она совсем в другую сторону шарахнулась. Но понимаешь, вот прочту хорошую книжку — и как будто огонь передо мной зажгли или глаза у меня другие стали. Больше вижу, по-другому, главное — людей. Вот Герцен...

Как трудно все объяснить. Вот если б ты был здесь, если б можно было поговорить, как в Дятькове. Ты не думай, у меня здесь тоже есть друзья. Но только, знаешь, ни с кем так не получается, как с тобой — чтоб обо всем, обо всем говорить и все понимать, даже если молчишь.

А ты что решил? Кем будешь? Не могу догадаться. Помнишь, тогда ты все не мог выбрать.

Толь, ну какая обида, что ты не здесь. Разве в письме обо всем расскажешь? Помнишь, когда мы поступали в комсомол, я тебе показала акт. И ты сказал: пришла и нам пора стать в ряды бойцов. А ведь сейчас нужно выбрать дорогу на всю жизнь. Чтоб не просто жить и заниматься каким-то своим делом, пускай даже самым интересным. Ведь хочется жить для

людей, для самого большого, для будущего. Значит надо как можно больше уметь для людей. А я еще плохо в людях разбираюсь. Иногда бьюсь, бьюсь, а все равно ничего не понятно.

Вот Танька. Теперь надо мне первой к ней подойти, а как это трудно...»

Танька... Да разве в письме объяснишь, что такое Танька и как с ней трудно. И вообще — почему он сам не пишет? Почему я и тут должна первая?

И неоконченное письмо полетело в ящик стола, в самый дальний угол.

* * *

Как незаметно летит время! Вот уже и вторая четверть кончилась. Хорошо кончилась. И ко всему в классе событие: у Татьяны в четверти по литературе «хор.»! Все, конечно, видели, что Летаева вон из кожи лезет, но этого не ожидал никто.

— Ставлю вам «хорошо», Летаева, — сказала Анна Алексеевна. — Наконец-то начали работать. И лучше можете. Только смотрите...

Она не договорила, лишь поглядела на Татьяну — и уж, конечно, Татьяна, а с нею и весь класс отлично поняли, что хотела сказать Анна Алексеевна: не возвращайтесь к старому, Летаева, не будьте попрыгунчиком.

Ох, до чего горда была Татьяна! Всем нос утерла, всем доказала!

Что ж, пусть гордится. Она и вправду молодец. Анна Алексеевна похвалила — этим всякий загордится, такое не часто бывает. А все-таки Октябрина не спокойна. И она и все ребята понимают, что хоть Татьяна и лезет вон из кожи и никого ни о чем не просит, а ей очень и очень трудно. По геометрии и по физике еле-еле вытянула, шаткие это у нее «посредственно». Надо ей помочь.

«Что же это я, — упрекает себя Октябрина. — Я ведь давно понимаю... Нет, больше нельзя откладывать этот разговор».

...В первый день занятий, после уроков, Октябрина перехватила Таню в дверях:

— Пойдем поговорим?

Танины брови от изумления совсем ушли под челку. Но, конечно, она постаралась сделать вид, что и не удивлена и не рада.

— Если хочешь, пожалуйста.

Они вышли вместе, провожаемые заинтересованными взглядами всего класса.

В первую минуту Октябрина все же не могла собраться с мыслями — как объясняться, какие слова сказать? И вдруг они сказались сами, совсем простые:

— Приходи завтра, будем вместе физику готовить.

И Таня, помолчав чуть-чуть, самую капельку, с достоинством ответила:

— Ладно, приду.

А больше ничего такого во всю дорогу и не было сказано. Вспомнили каникулы, поговорили о том, как встречали Новый год, что было сегодня в школе, и простились на углу.

Назавтра Татьяна пришла как ни в чем не бывало. Привычно разделась, привычно поправила завиток челки и раскрыла портфель.

— Начнем? — спросила Октябрина.

— У меня две задачи сделаны, — сказала Таня, — а в третьей я не совсем разобралась.

— Ну, давай разбираться.

Покончили с задачей. Татьяна спросила:

— Проверишь меня за старое?

— Давай.

Нет, теперь она уже не зевала, не смотрела поминутно на часы. Когда начинала путаться, Октябрина, объясняя ей непонятное, встречала внимательный, думающий взгляд. И на полуслове Таня прерывала:

— Постой, дальше я сама расскажу.

Так и позанимались. А когда уже пора было в школу, Татьяна деловито собрала портфель — и вдруг не выдержала:

— Слушай, Инка, неужели ты совсем-совсем на меня не сердишься?

— Сержусь? — переспросила Октябрина. — Конечно, нет.

— Ох, вот хорошо! А я думала, ты больше никогда со мной и говорить не захочешь. Знаешь, я сперва так злилась, так злилась, как дура. Думала: ну вас всех, сама обойдусь. А как трудно было! Только ты не думай, теперь уж я все понимаю. Я так рада, так рада!

— А я, думаешь, не рада? — сказала Октябрина. — Теперь все время будем вместе заниматься. Вот!

* * *

— Приступаем к контрольной работе. Достаньте ваши тетради.

Марианна Степановна подходит к доске и узким косым почерком начинает выписывать вопросы и задачи. И вдруг с мелом в руке оборачивается: в классе что-то не так. Какая-то особенная, настороженная тишина.

— В чем дело? Почему вы не записываете? Где ваши тетради?

— Марианна Степановна, отложите, пожалуйста, контрольную до следующего раза, — сказала, вставая, староста класса Соня Овечкина. — Мы еще не готовы.

— Почему не готовы?

— Очень трудный материал. Помните, в прошлый раз почти никто не понял. Мы вас просим объяснить еще раз.

— Но ведь в прошлый раз я вам объяснила. Надо было выучить.

— Марьян Степанна, я учил-учил, вот честное слово, все равно ничего не понятно! — крикнул Шурка Валежников.

— Значит, плохо учили.

На этот раз в ответ раздался хор протестующих голосов:

— Нет, не плохо! Учили хорошо. А вы в тот раз очень непонятно объясняли.

Октябрина поднялась:

— Марианна Степановна, ведь весь класс не понял! Мы вас очень просим, отложите контрольную.

— Ничего откладывать не стану. У нас есть план,

его надо выполнять, — сухо ответила Марианна Степановна. — Доставайте тетради, времени у вас мало.

— Марианна Степановна, но ведь мы вас всем классом просим! — горячо сказала Лида.

Не ответив, Марианна Степановна отвернулась к доске и продолжала писать. Класс зашумел.

— Безобразие какое! — почти громко сказала Галя.

— Как же писать, когда мы тему не знаем? — повернулся к классу сидевший впереди Урусов.

— Вот что, ребята, — заговорила Октябрина. — Митинговать мы не можем. Раз Марианна Степановна не соглашается, надо писать.

— Еще чего! — откликнулась с «камчатки» Тамара. — Пиши сама, если тебе хочется.

— Можешь не сомневаться, — твердо сказала Октябрина. — Я писать буду. И думаю, что раз так получилось, все должны писать. Комсомольцы, во всяком случае.

Она села и достала тетрадь.

Этого никто не ждал. Кое-кто посмотрел на Октябрину с возмущением, Таня — растерянно. Многие оглядывались на комсорга. Лида, огорченная и недовольная, развела руками и тоже достала тетрадь. За нею — Илья.

Что будешь делать с этой Марьяшей, ничего она не понимает. Хочется ей, что ли, чтобы весь класс «плохо» получил? Но что же это Октябрина? Одна против всех?

После химии Октябрину окружили.

— Что же это ты? Весь класс подвела! — с упреком, с возмущением говорили ребята.

— Нехорошо, понимаешь? Против всех пошла, куда это годится, — сказал Гриша Урусов.

— Эх ты, принципиальная! Штрейкбрехер, вот ты кто! — крикнула Тамара Бугрова.

Октябрина, побледнев, обернулась к ней:

— Ты думаешь, что говоришь?

— А ты думаешь, что делаешь? Весь класс с тобой несогласен, а ты всем наперекор пошла. Товарищ, называется, — зашумели ребята.

— Товарищество тут ни при чем, — негромко ответила Октябрина. — Мы могли просить, но раз она не согласилась, мы обязаны писать.

— Вот и написали. Полкласса «плохо» получит.

— Надо было с ней раньше договориться, — с досадой сказал Илька.

— Договорись с ней, как же, — уныло отозвалась Таня.

— Нет, попробовать надо было, — грустно сказала Лида. — А так тоже нехорошо срывать. Мы же комсомольцы.

— К директору надо было идти! — сердито, краснея, крикнула Галя. — Или к завучу. С ней разве договоришься, с этой химией. Ничего не понимает!

— От завуча она еще получит, — рассудительно встала Соня. — Контрольную все равно не засчитают, повторять придется. Ясно же, что всем классом провалились.

На последнем уроке — это было черчение — десятый «Г» гудел. Мало кто занимался делом.

Впервые Октябрина шла из школы одна. Никому в этот день не было с ней по дороге. Даже Ильке. Даже Лиде.

* * *

Медленно, понурив голову, она шла к реке. На душе было беспокойно, нехорошо, хотелось побыть совсем одной. Давно она не была здесь. Все замечено, все тонет в снегу, все ровно и сине в сумеречном свете. Холодный ветер налетел, рванул полу пальто, набросил прядь волос на глаза, пробрался за воротник. Октябрина поежилась. Что ж, попробуем разобраться. Начнем по порядку. Она перебирала в памяти все, что говорили ребята, снова слышала насмешки, упреки, видела отчужденные, недовольные лица... «Но ведь я правильно сказала, нельзя было иначе», — думала она. Однако эта мысль не принесла облегчения. Одна против всего класса — хуже, кажется, ничего не придумаешь. Даже Илька, даже Лида...

А может, кто-нибудь из ребят сейчас у нее?

Почти бегом она повернула к дому. Не заметила, как дошла. Взбежала по лестнице, рванула дверь,



кинула быстрый взгляд на вешалку. Никого. А может, просто не дождалась?

— Мапочка, ко мне никто не заходил? — все еще не теряя надежды, спросила она.

— Нет, дочура. А ты что поздно? И бежала, вон совсем задохнулась — разве можно так?

«Значит, никто...» Как была в пальто, она опустилась на стул.

Не донеся до стола тарелки, Зинаида Николаевна бросилась к ней, торопливо подошел Николай Васильевич.

— Что с тобой, дочура? Случилось что-нибудь? — спросили они в один голос.

— Ничего, — тяжело поднимая голову, ответила Октябрина. — Только я поссорилась со всем классом.

— Как так? Не понимаю, — сказал отец, и лоб его прорезала глубокая складка.

— Сейчас расскажу.

— Да ты сперва разденься, — спохватилась Зинаида Николаевна и отставила, наконец, забытые в руках тарелки. — Вся мокрая, снег на тебе растаял. И поесть надо.

Но Октябрьине было не до еды. Раздевшись, она подошла к отцу, подняла на него потемневшие, усталые глаза.

— Ты мне скажи: бывает так, что один человек прав, а все остальные, целый коллектив, не правы?

— Нет уж, дочка, ты расскажи все по порядку.

От спокойного голоса отца, от внимательного взгляда родных светлых глаз Октябрьине стало немного легче. Он во всем разберется. Он прямо скажет ей, если она не права, и объяснит, почему не права. А уж если он станет на ее сторону, тогда пускай хоть вся школа будет против нее — она от сказанного не отступится.

Разговор затянулся за полночь. У стола, склонив голову над шитьем, сидела Зинаида Николаевна, молча слушала, изредка внимательным долгим взглядом смотрела на дочь и на мужа. А они сидели рядом на диване и говорили серьезно, прямо, как два друга, привыкшие делиться всем — хорошим и плохим, горьким и радостным.

— Ты пойми, дочка. Сознательными сразу люди не становятся. Их воспитывать надо — исподволь, терпеливо — даже взрослых людей. А уж о ребятах что говорить. Бывает, один начнет кричать, а за ним все. Потом разберутся, поймут, что не правы, а признаться в этом ведь тоже не просто. Я уверен, завтра товарищи твои одумаются — утро, знаешь ли, вечера мудренее. Не все, конечно, сразу ничего не делается. Придется тебе потерпеть.

— Верно говоришь, отец, — вставила Зинаида Николаевна. — Потерпи, дочура. Правому терпеть легче. Хорошие твои ребята — и Лида с Соней, и Илюша, и Танюшка эта. Погорячились, на то и ребята. А глядишь, и образумятся.

— Что ж, потерплю, — отвечает Октябрина.

Николай Васильевич смотрит на ее упрямо наклоненную голову, и вдруг вспоминается ему, как его брат Ваня, тогда сам еще мальчишка, впервые посадил четырехлетнюю Октябринку на лошадь. Девочка держалась обеими руками за гриву и смеялась. Старая смиренная лошадь шажком двинулась по двору. И тут — должно быть, не доглядел Иван — Октябринка вдруг соскользнула с лошади и свалилась наземь. Хорошо, что попала прямо на ворох сена, раскиданного тут же во дворе. Все-таки и ушиблась порядком и испугалась. Малый — тот даже побелел весь. А она встает — тоже бледная, губы дрожат — и говорит тихонько:

— Ну, остановка, значит, я слезла.

Николай Васильевич невольно улыбается этому воспоминанию. «Моей породы, упорная, — говорит он себе. — Отступать не любит. Ну и выдержка кой-какая есть».

А Октябрина думает:

«Да, наверно так, поймут ребята. И разве может быть иначе? Но как тяжело, темно на душе, когда против тебя все. Даже самые хорошие ребята, друзья».

Назавтра раньше обычного прибежала Таня — на себя не похожая, тихая, грустная. Разложила тетради, но не стала, как всегда, быстро докладывать, что ей ясно и что неясно, а только смотрела на Октябрину несчастными и жалеющими глазами.

Наконец решилась:

— Иночка, что ж это, как нехорошо вчера вышло. Все эта Марьяшка. Надо же, всем классом провалились. А все-таки, Иночка, зачем же ты против всего класса? Ребята знаешь как обижаются. Ведь если б не ты, нипочем бы не писали.

— Не могла я по-другому, Танюшка. Нельзя было нам не писать.

— Как же теперь будет?

— Все равно эту контрольную не засчитают, — сказала Октябрина. — Вот увидишь, Марианну Степановну заставят повторить. А сами мы не имели права.

— А ты как же будешь?

— Не знаю, — хмуро и не сразу ответила Октябрина. — Может, ребята поймут. А сейчас, знаешь, давай заниматься.

Они уже кончили и совсем собрались в школу, когда в дверь постучали и вошла красная, взволнованная Лида.

— Инушка, милая, я уж не могла дождаться, решила за тобой зайти, — начала она с порога, забыв даже поздороваться. — Такие мы все дураки! Вчера ходили-ходили, говорили-говорили... С Галкой, конечно, переругались, но и она поняла тоже. Конечно, ты права, нечего было анархию разводить. Илька говорит, прямо стыдно тебе в глаза смотреть. Сердишься? Очень?

Она говорила, и с каждым ее словом светлело лицо Октябрины.

— Сержусь? Что ты, Мишука!

— Вот видишь, видишь! Я же говорила, — чуть не запрыгала Татьяна, которой уже казалось, что она это самое Октябрине и предсказывала.

И они побежали в школу, как будто боялись опоздать к примирению, которое теперь, конечно, уже никуда от них не могло уйти.

* * *

Последняя школьная весна пролетела, заполненная предэкзаменационными тревогами, озаряемая, как зарницами, взволнованными мыслями о будущем. С каждым днем оно становилось ближе.

И вот, наконец, наступил день, которого так ждали: сдан последний выпускной экзамен.

В школе солнечно, тихо. Они ходят по этажам, заглядывают в пустые классы, перебирают подробности последнего экзамена: кого о чем спросили, кто как отвечал.

Даже не верится, что завтра уже ничего не надо учить, — можно на весь день уйти на реку или в степь, не рассчитывать каждый свой шаг, каждую минуту.

А потом — выпускной вечер. Сколько взволнован-

ных и торжественных речей, сколько мечтаний, высказанных вслух. Сколько веселья, смеха, танцев. С какой гордостью, а минутами с плохо скрытой грустью смотрела на них Анна Алексеевна! Вот и эти выросли, уходят... А осенью придут новые... Что ж, на то ты и учитель.

— Видали? Даже Марьяша, и та расчувствовала, — с удивлением сказала Тамара Бургрова, когда они всей гурьбой выходили на улицу.

Со счастливыми, разгоревшимися лицами, с цветами и трубочками аттестатов в руках они шагают по городу. Идут прямо на берег Урала. С реки веет прохладой, рассветной свежестью. А за Уралом цветет и дышит степь, и кажется, нет ей ни конца ни края.

Вот и совсем рассвело. Они бродят по берегу, то



неудержимо веселые, то вдруг задумчивые, и говорят, говорят...

— Нет, вы только подумайте, ребята: новую жизнь начинаем! Совсем новую! — И Лида удивленно смотрит на всех. — Прямо даже не верится!

— Новая жизнь... — задумчиво повторяет Гриша. — Хорошо...

— Еще как хорошо! Даже не знаешь, что делать! Вот вы мне скажите... — Шурка останавливается на самом краю обрыва и, в свою очередь, вопросительно, нетерпеливо всех оглядывает: — Нет, вы скажите. Вот у меня и глаза разбегаются и мысли. Все интересно, все хочу сам попробовать. В конце концов это просто обидно заниматься весь век чем-то одним!

— Почему одним? — спрашивает Октябрина. — У меня есть большой друг, он говорит так: до тонкости, до последней мелочи все знать о своем одном деле и понемногу обо всем остальном. Вот.

— Хорошо сказано. Сразу видно — толковый человек сказал, — одобряет Гриша.

— А что же, — воинственно спрашивает Галя, — вот я пойду на литературный, так разве мне и вширь и вглубь заглянуть не захочется? Ну, нет! Все равно обо всем буду знать.

— Все-таки я не понимаю, — говорит Илья. — Почему это ты решила на литературный? Октябрина — понятно. Татьяна? И это понятно. Она бы за Октябриной не то что на литературный — и на физмат бы пошла.

Ребята дружно хохочут.

— Нет, я серьезно, — продолжает Илья. — Человек должен выбирать профессию себе по характеру. Вот Лида будет медиком. И уж будьте уверены, не хирургом, а каким-нибудь там невропатологом. Будет исцелять тела и души. Верно, Мишука?

— Верно, — смеется Лида.

— Теперь смотрите: Володька — военный моряк. Подходит? Подходит. Гриша — геолог-разведчик. Опять подходит: старый знаток родного края, знаменитый путешественник по нехоженным тропам. Наконец Соня. Вы только подумайте, химиком решил стать

человек! И это после Марианны Степановны, которая так долго и так успешно внушала нам ненависть к своему предмету! А Соне не внушила. Почему, спрашивается? Потому, что характер у нашей Сонечки невозмутимый и непреклонный.

Ребята уже устали смеяться, и невозмутимая Соня хохочет вместе со всеми. А Илька гнет свое:

— Всех понимаю, а тебя, Галка, нет. Ну, какой из тебя литератор?

— Да куда же мне, по-твоему?

— А вот я тебе скажу, куда. Самое верное — по Володькиным стопам: кораблем командовать. Или уж по твоему характеру — турбины строить. Это самое маленькое.

— А ведь верно, — удивляется Урусов.

И Володя Горелов кричит в восторге:

— Верно, Галка! Поехали в Ленинград!

— Ну вас, — отмахивается Галя. — Характер, характер. А у Анны Алексеевны, по-твоему, характер литературный?

Илька сражен. У Анны Алексеевны действительно характер...

— Всех распределил, а себя забыл, — подскакивает к нему Таня. — А тебе архитектурный подходит?

— По-моему, подходит, — не вдруг, задумчиво отвечает Илька. — Строить дома, города... это, по-моему, самое лучшее.

— Слушайте, ребята! — По лицу Шурки все сразу понимают, что его осенила новая идея. — Слушайте, вот мы разъедемся по институтам. А через четыре года, ну, через пять, кончим — так? Илька архитектором, Соня химиком, я... ну и я кем-нибудь. Гриша какие-нибудь необыкновенные ископаемые раскопает, это уж факт. И там заложат новый город. Ильку — главным архитектором. И вообще все туда съедемся. Здорово, а? Будет наш город. Совсем наш! Имени нашей школы! И такой, чтоб лучше его нигде не было!

— Голосую! — восторженно кричит Татьяна. — Кто за новый город?

Ребята весело зашумели. А что, даже очень интересно! Пожалуй, нас и правда на новый город хватит!

— Не согласен! — вдруг запальчиво сказал Илька. — Так всякий сумеет: пришел и на чистом месте построил. А вот наш Чкалов начисто обновить — это да!

Шли мимо люди, жители степного города Чкалова. Кто оглядывался, а кто и останавливался, с улыбкой глядя на молодую, шумную толпу. По лицам, по глазам всякий узнавал: выпускники. И редкий человек не пожелал им мысленно счастья, у редкого при виде их не потеплело на сердце. Ведь это была сама юность — смелая, решительная, полная надежд.



IV. ГОД ИСПЫТАНИЙ

Война!

С самого утра сидит Октябрина в приемной секретаря райкома комсомола. Сидит сосредоточенная, хмурая. Народу много, очередь ее подойдет еще не скоро. Надо запастись терпением.

Как далеко ушло то утро, счастливый рассвет на крутом берегу Урала. словно не пять недель, а пять долгих, тяжких лет прошло. То утро, которое столько им обещало, которое казалось началом большого и полного счастья, было последним мирным утром их Родины.

Октябрине вспоминается, как в тот день она рядом с отцом и матерью стояла перед репродуктором и, боясь шевельнуться, боясь дышать, слушала страшную весть о войне. А потом отец обнял их за плечи, заглянул каждой в глаза и вышел. Он пошел в военкомат, а она побежала в райком. Чуть ли не всем классом пришли они к хорошо знакомому инструктору.

— Андрей Иванович, дайте нам самое трудное задание! — попросила за своих комсомольцев Лида.

Андрей Иванович, не раз бывавший у них в школе, внимательно поглядел на молодые, ждущие лица, и в его глазах Октябрине почудилась мимолетная грустная усмешка.

— А я, ребята, не знаю, что самое трудное. Сейчас всё и всем будет трудно. Легкого не будет. А пока...

А пока их послали расклеивать по городу приказы. Потом — белить, мыть, чистить школу: в ней будет госпиталь. Они красили белой масляной краской больничные столики и табуретки, железные койки, помогали готовить большое, сложное хозяйство госпиталя к приему раненых бойцов, они были подручными в каждом деле.

Вскоре девочки остались одни: ребята ушли в армию, разъехались по военным училищам. Последними проводили Гришу Урусова и Ильку. Дошли с ними до военкомата, постояли во дворе. Гриша, и всегда-то не очень разговорчивый, все молчал, поглядывал на мать и сестренку. Илька улыбался бабушке, пытался шутить, но даже ему шутки в этот час не очень удавались. И только когда уже надо было прощаться, он крепко пожал несколько протянутых рук и сказал со своей всегдашней улыбкой:

— Ну, Октябрина, Лида, девочки, не поминайте лихом! А главное, ты, Галка, а то, боюсь, и на фронте не будет от тебя покою, в страшных снах будешь сниться. Злей учитесь, девочки, вернемся — подтягивать нас будете. Ладно, Таня?

— Еще бы! — в тон ему ответила Таня, только глаза у нее подозрительно заблестели. — Я тебя персонально на буксир возьму.

— Вот спасибо. Ну, до встречи, друзья. До встречи после победы!

Как часто вспоминает Октябрина это прощание, серьезное, застенчивое лицо Гриши, черные глаза Ильки, его открытую, милую улыбку.

Учиться... Да, девочки будут учиться. Многие подали заявления в институты, о которых мечтали тогда на берегу, кое-кто уехал. Проводили и Лиду в Таш-

кент, на медицинский. А когда возвращались с вокзала, Октябрина поспорила с Соней. Она заговорила о том, что не может и думать об ученье. Да, конечно, врачи нужны. Но ведь когда еще Лида кончит — через пять лет! Вот и Соня уедет в свой институт, и другие уже говорят о занятиях, о лекциях, а она даже не представляет себе этого. Правда, ее уже зачислили на литфак. Но заниматься сейчас литературой? Вот если бы, если бы в летнюю школу — тогда другое дело. А литература... Нет, завтра опять пойду в военкомат.

— Да ведь отказали уже тебе и в военкомате и в райкоме, — пожала плечами Соня. — И правильно сделали. Война войной, а жизнь ведь продолжается. Должен кто-нибудь учиться, потвоему?

— Наверно, должен. Только я не могу. И не понимаю тех, кто может. Хорошо тебе с твоим характером, — сказала Октябрина, и в ней шевельнулось безотчетное недоброе чувство. Бывают же такие спокойные люди! Впрочем, давно известно — Соню ничем не проймешь.

Они расстались недовольные друг другом: Соня — оскорбленная несправедливым подозрением, которое она почувствовала во взгляде и в тоне подруги, Октябрина — возмущенная и удивленная. Да, конечно, Соня всегда была самая хладнокровная в классе. Но ведь это уже не просто хладнокровие. Как можно рассуждать, как можно быть равнодушной в такое время! Ведь война, такая война!

Вся в этих мыслях, Октябрина даже не заметила, войдя в комнату, что у матери покраснели глаза и она



с какой-то особенной, невеселой заботой проверяет и перекладывает стопку белья. Отец тут же на углу стола разбирал какие-то документы. Октябрина, поглощенная своим, наскоро пересказала им спор с Соней. Что делать с такими? Ведь выходит, в трудный час они от всего устраниются. Люди воюют, а Соня...

— А она совершенно права, твоя Соня, — сказал Николай Васильевич, и Октябрина даже вздрогнула, услышав в голосе отца незнакомую жесткую нотку. — Ты вот горячишься, а она понимает: для того люди и воюют, чтобы ты мог работать, чтоб жизнь продолжалась, чтобы и завтра всюду, на всех постах нам хватало знающих, умелых работников, специалистов. А главное, как же ты сразу так худо подумала о человеке, которого знаешь не первый день? О людях судить — не дрова рубить, тут сплеча действовать не годится.

И он снова нагнулся над своими бумагами. Октябрина стояла молча, не поднимая головы.

— Ладно тебе, отец, — устало и грустно сказала Зинаида Николаевна. — Они меж собой разберутся, а тебе что же ругать дочку на прощанье. Когда еще свидитесь...

Только теперь Октябрина заметила и дорожный отцовский мешок и следы слез на лице матери. Она тихо подошла к отцу, прижалась головой к его плечу. Подошла и Зинаида Николаевна, и несколько минут они так и стояли молча, обнявшись.

Да, кажется, вся жизнь теперь — сплошные проводы и разлуки. Еще через день провожали Соню. В последнюю минуту, уже у вагона, Октябрина отвела ее в сторону.

— Я хотела тебе сказать... Я виновата.

— Ну вот, нашла, о чем говорить, — проворчала Соня. — Пришла ведь, значит, все ясно.

— Нет, слушай. Мне очень стыдно. Я не так о тебе подумала. Ты, конечно, права. Но я все равно не могу. Уйду на фронт.

— Да разве тебя возьмут? Ты на меня не обижайся, но какой из тебя воин!

— Возьмут, — ответила Октябрина. — Добьюсь. И воевать буду не хуже людей. А ты на меня не сердись. Теперь все.

И вот снова райком. Их много здесь, таких же семнадцатилетних, вчерашних школьников и школьниц. Все они думают об одном, хотят одного, и каждый раз, как отворяется дверь кабинета, все глаза впииваются в лицо выходящего: что на этом лице? Что там сказали? Да или нет?

* * *

— Нет, Смирнова, на фронт мы тебя не пошлем, — сказал ей секретарь райкома. — Думаешь, мне приятно сидеть в тылу? А вот сижу, раз надо, хоть я и не девочка и мне не семнадцать лет. Надо. Вот и ты это для себя пойми: надо.

— Да что вы сравниваете, — с досадой сказала Октябрина. — Разве я здесь настоящее дело делаю?

— Мало делаешь? Что ж, дадим тебе другое дело. Трудное. По совести сказать, даже не уверен, справишься ли.

Он умолк, испытующе глянул на нее. Октябрина хмуро, недоверчиво встретила его взгляд. «Все нарочно, — подумала она. — Уговаривает, как маленькую. Обещает трудную работу, а сам опять пошлет стены белить или табуретки красить».

— Так вот, — продолжал секретарь, по лицу девочки без труда проследивший ход ее мыслей. — Предлагаю тебе поехать бригадиром девичьей бригады в совхоз имени Калинина. Место тебе знакомое. Рабочих рук, сама понимаешь, не хватает, а урожай не терпит. Дело сложное, девчата едут разные: и наши школьницы и эвакуированные. К людям подход нужен. Если думаешь — не справишься, говори сразу.

— Думаю, что справлюсь.

С этим она и ушла.

Она, конечно, понимала, что и секретарь прав, как правы были Соня, отец. Да, но ведь когда отца оставили здесь же, в городе, замполитом госпиталя, он тоже огорчался и пробовал протестовать: каково ему, взрослому, бывалому человеку, оставаться в таком

тылу... А ее уговаривают! Но ничего. В совхоз она, конечно, поедет, а там посмотрим.

В девичьей бригаде было тридцать человек. Почти все из своей же школы, только из девярых классов, человек семь — эвакуированные из Львова. Но до чего обрадовалась Октябрина, увидев в списке две хорошо знакомые фамилии: Летаева и Харбинова!

Поздно вечером они приехали в совхоз. После суеты и спешки сборов, после долгих часов, проведенных в дороге, голова отяжелела, и, может быть, поэтому все вокруг показалось Октябрине каким-то чужим. Не сразу она поняла, что здесь и в самом деле все стало по-иному. Пусто, тихо, ни громкого возгласа, ни песни, ни смеха, словно в доме, где кто-то тяжело болен.

— Мужчин мы почти всех проводили, — сказал вновь прибывшим директор совхоза. — Трудно. Вы, я понимаю, народ непривычный, зато молодой, сознательный. Так что мы на вас крепко надеемся.

Девушкам дали наряд на завтра и развели по домам на ночлег. Октябрина с Таней остановились у Малыгиных.

И радостно и грустно было Октябрине вновь оказаться в почти родном ей доме. Здесь тоже все не так, как прошлым летом. Вася — в армии, и у Анны Захаровны строгое, похудевшее лицо. Шура, Петя, даже Лидушка — все с утра до ночи в поле, на фермах — помогают совхозу. И Тося со своими учениками, конечно, тоже — где еще может быть место учительницы, а ведь Тося теперь сама преподает в совхозной школе. О многом хотелось им поговорить, но времени на разговоры почти не оставалось.

* * *

Утром приезжие разделились: половина под командой Гали отправилась на вторую ферму, остальных Октябрина повела полоть свеклу. С прополкой в этом году запоздали, поля заросли сорняками. С первых же дней Октябрина убедилась, что прав был секретарь: трудно ей придется, не просто это — добиться, чтоб работали как надо. Работа непривычная, тяжелая,

утром роса, в полдень жара... кое-кто споткнулся на этом. То одна, то другая начинает ныть. Конечно, всем хочется утром поспать лишних полчаса, и всем до черта надоело с утра до ночи махать тяпкой.

Впрочем, той, которая, не сдержавшись, высказывала это вслух, спуску не давали. И не насмешка, так гнев — что-нибудь да действовало.

Эвакуированные не ныли. У Октябрины их было пять, все они казались и старше чкаловских и слабее их, хотя и были такими же школьницами. Лица у всех были бледные, неулыбчивые. Работали они молча, сосредоточенно и как-то так, словно вымещали все пережитое на этом разросшемся сорняке. Впрочем, о пережитом они мало рассказывали. Но ведь о многом и без слов можно догадаться. Случалось, рослая, стриженная, как мальчишка, Сима Грушко опускалась прямо на землю и, свесив руки, подолгу глядела в одну точку мрачными серыми глазами. Ее не только не понукали, — никто не осмеливался с нею заговорить. А неразлучная с нею Лена Вихревая, русая и голубоглазая девушка, которой совсем не шла такая фамилия, молча, мельком взглядывала на подругу и начинала с удвоенной энергией работать тяпкой.

Даже неугомонная Татьяна долго ничего не могла узнать об этих двух девушках, которые и среди эвакуированных держались обособленно, хотя приехали они одним эшелоном, из одного города — Львова. Стало только известно, что обе они тоже приняты на литфак. Совсем разные, они были неразлучны. И Октябрине почему-то казалось, что судьба этих девушек особенно горькая и тяжкая.

* * *

Однажды в невыносимо жаркий и томительный день Валя Петрова, которая вообще ныла чаще других, с размаху отбросила тяпку, села на землю и заявила, что не может больше сделать ни шагу.

— Что хотите со мной делайте, не могу — и все!

— Как это не могу? — крикнула Таня. — Другие

могут, а ты нет? Октябрина послабей тебя, а работает. Ты что, думаешь, тебе тяжелей всех?

— Не знаю, как другим, а мне эта работа не под силу, — резко ответила Валя. — И вообще я не понимаю. Неужели нельзя рациональнее использовать человека, проучившегося девять лет?

— Используют где надо, — сказала Октябрина и выпрямилась. — Ты, кажется, забыла, что у нас война.

— Да что вы ко мне привязались, — ворчала та, снова берясь за тяпку. — Я работаю? Работаю. Не хуже всех. И нечего меня агитировать. Минуты нельзя передохнуть человеку, сразу налетели. Вон Грушко по пять раз на день усаживается отдыхать, так ей никто ничего не говорит.

Всех передернуло. Валька — здоровая, балованная девчонка, единственная дочка, живет с родителями, а Грушко... кто знает, что перенесла Сима Грушко? И разве удивительно, что ни у кого язык не повернется сделать ей замечание?

— Нечего себя с Грушко сравнивать! — кинула Таня, тоже принимаясь за работу.

Ни сама Грушко, ни Лена Вихревая ни словом не вмешались в эту перепалку. Грушко только издали смерила взглядом Петрову, потом так же исподлобья поглядела на Таню и быстро пошла дальше по своему ряду.

До самого вечера работали молча. Невеселые мысли одолевали Октябрину. Вот и стараются сейчас, а все равно медленно идет дело. Норму не выполняем. Трудно, конечно. Очень. И мне трудно, а ведь я не первый раз тяпку в руках держу. Голова кружится, того и гляди упадешь. Но ведь надо. Как-то так надо сделать, чтоб хоть норму выполняли. Иначе подведем совхоз.

Когда возвращались вечером с поля, она сказала:

— Девочки, вот что я хочу предложить. Давайте устроим соревнование. Кто быстрее всех выполнит норму — идет слушать сводку. Запишет и потом всем прочтет.

— Вот это хорошо! — горячо сказала Лена Вихревая.

Сводка передавалась в семь часов, когда девушки были еще в поле, и о событиях на фронте они узнавали с чужих слов.

Назавтра в первые же часы Октябрина почувствовала, что работа пошла дружной. Не слышно было ни разговоров, ни жалоб. Даже Валя Петрова не останавливалась подолгу на одном месте, не потирала с несчастным видом спину, не осматривалась по сторонам. Львовские девушки все до единой вырвались вперед. Они работали яростно, неутомимо, и видно было, что для каждой из них кончить первой и первой услышать сводку сейчас — важнее всего.

Как понимала их Октябрина! Только накануне Совинформбюро сообщило о том, что творят оккупанты во Львове. Что, если бы немцы были сейчас в ее городе, в ее доме? Если бы они были сейчас там, где живут ее родные, ее сестры, где она так подружилась с Толей?.. Неужели враг придет и туда? Нет, она хорошо, очень хорошо понимает, с каким чувством работают сейчас Лена, Сима и другие девушки из Львова.

Впереди всех в этот день оказалась Лена Вихревая.

Через несколько дней Октябрина предложила выделить «тройку по качеству»: пусть проверят все ряды, чисто ли прополото. Девочки согласились.

В день, когда начали проверку качества, Сима Грушко сделала меньше всех. Она все отставала и отставала, и девочки, идя по своим рядам, оглядывались на нее с недоумением.

— Интересно, как это у нее получается, — громко сказала Валя Петрова. — То все шла впереди, а то вдруг в самом хвосте оказалась.

— Правда, Иночка, что-то нехорошо выходит, — сказала и Таня; ее ряд был соседний с Октябриным, и она постаралась, чтобы остальные девочки ее не слышали.

Октябрина только головой покачала. Но когда кончили работу, снова раздались недовольные, подозрительные голоса:

— Что же это Грушко — то вскачь, то ползком? Странно. Надо проверить ее участок с самого начала.

— Почему именно Грушко? Тогда всех надо так же проверять, — пожала плечами Лена.

Сима тоже передернула плечами, но, по обыкновению, промолчала.

— Не надо, — вступилась Октябрина. — Может быть, Сима просто устала. Знаете, как при беге на дистанцию — не рассчитала и выдохлась. Через несколько дней она свое возьмет.

— Какое выдохлась! Тут дело не чисто. Надо ее проверить! — протестовали девочки.

— Надо верить друг другу, мы же вместе работаем, — спорила Октябрина. — Я убеждена, что Сима просто выдохлась.

Сима внимательно посмотрела на нее, но так и не сказала ни слова. Остальные, наконец, согласились со своим бригадиром: будь по-твоему, по-дождем.

Как видно, Октябрина была права: через несколько дней Сима снова шла одна из первых. Она работала не разгибаясь, не останавливаясь ни на минуту, ее движения были скупы и точны, и в них чувствовалась такая сосредоточенная ярость, словно не сорную траву она уничтожала, а живого врага.

А вечерами она куда-то исчезала и возвращалась поздно, когда остальные уже спали. Проведала об этом, конечно, вездесущая Татьяна. Спросила Лену:

— Что это, когда к вам ни зайдешь, Симы не видно? Где она пропадает?

— Не знаю, — сдержанно ответила Лена. — Может быть, ей хочется пройтись, побыть одной.

На другой день, когда все уже собирались спать, Таня незаметно вызвала Октябрину на крыльцо.

— Идем скорее!

— Куда, зачем? Так поздно?

— Идем, увидишь.

И Таня повела ее к полю, где они днем пололи свеклу. Октябрина несколько раз принималась расспрашивать ее, но Татьяна отвечала все так же важно и таинственно:

— Придем — увидишь.

И вот, поднявшись по косогору, за которым начиналось их поле, в тусклом свете едва прорезавшегося месяца Октябрина увидела какую-то согнутую фигуру.

— Ничего не понимаю, — обернулась она к Тане. — Что такое?

— Смотри лучше.

Октябрина всмотрелась. Кто-то вышел ночью полоть. Кто? Зачем? Полольщица на минуту разогнулась, устало отерла лоб. Рослая, широкоплечая. Коротко, по-мальчишески остриженные волосы. Сима!

— Что это она, вперед наработывает? — шепотом спросила Октябрина.

— Погляди получше. Она же работает на пройденном участке!

Несколько минут они смотрели на Симу, которая снова склонилась над своей свеклой. Потом Октябрина спохватилась — еще заметит! — и за руку потянула Таню назад, за косогор.

— Значит, и правда, она тогда работала лишь бы как! Видишь, а ты за нее заступалась, — говорила Таня.

— Да, верно. Но ведь она сама все поняла.

— Поняла, как же! Просто испугалась, что ее на чистую воду выведут.

— Ну, не знаю, — сказала Октябрина. — А по моему, ей сейчас очень стыдно.

— Еще не так стыдно будет! погоди, что ей завтра девчата запоют!

— Нет, Танюшка. Девочкам говорить не надо.

— Здрате пожалуйста! Это почему же?

— Да зачем говорить? Понял человек свою ошибку, исправил ее — чего тебе еще?

— Как чего? Пускай девчонки знают, что она всех обманывала. Зачем это ее покрывать?

— А вот затем. Наказывать тоже надо с умом. Если человек уже понял свою ошибку, зачем же ему старыми грехами глаза колоть? Это как в джунглях...

— Что-о?

— Нет, это я уже не к тому... Просто, раз человек понял, надо ему помочь. Иначе только хуже будет.

— Куда уж хуже.

— В общем, Танюшка, я тебя прошу: не надо никому говорить.

— Ну, раз просишь... Но только так и знай, все равно я с тобой не согласна. Просто уж так, чтоб ты не расстраивалась.

* * *

Прошло еще несколько дней, и Сима перестала пропадать по вечерам. Но днем в поле она по-прежнему шла одной из первых. И тройки, проверявшие качество работы, — а они сменялись каждую неделю — ни в чем не могли ее упрекнуть.

В тот день Сима Грушко первая закончила работу и ушла слушать семичасовую сводку. Но когда вечером девочки, пообедав в совхозной столовой, собрались послушать эту сводку, Сима не стала ее читать. Стиснув зубы, не поднимая глаз, она передала исписанный листок Октябрине.

— Прочти... — начала Октябрина и осеклась: по лицу Симы она поняла, что та не может ни читать, ни говорить.

В сводке сообщалось, что двенадцатого сентября наши войска оставили Чернигов.

Когда девочки стали расходиться, Октябрина отыскала глазами Симу. Они вышли вместе.

— Сил нет слушать эти сводки, — сказала Октябрина. — Знала бы ты, как я хочу на фронт.

— Много от тебя толку на фронте, — угрюмо отзывалась Сима.

— Что ж, разве я стрелять не умею? Или раненого не перевяжу? — возразила Октябрина и, помолчав, прибавила с горечью: — Вот если бы летчиком...

Сима внезапно остановилась. Лицо ее в сумерках показалось Октябрине белым, как бумага.

— Ты? Летчиком?

— А почему нет? Знаешь, как я хотела...

Сима не дала ей договорить:

— Ты — летчиком! Мой папа был летчиком, видела бы ты... Большой, сильный... богатырь. Как он летал! И то...

Вот когда узнала Октябрина историю Симы и Лены. Их отцы выросли в одном городе — Чернигове — и во Львове летали в одном полку; жили девочки в одном доме, в школе сидели на одной парте. Когда кончили десятый класс, капитан Грушко обещал в воскресенье «прокатить» дочку с подругой. Накануне они приехали к нему. На рассвете проснулись от страшного грохота и, кое-как натянув на себя платья, выбежали из дому. Аэродром пылал. Поселок тоже. Девочки бросились в канаву, а отец Симы побежал к своему самолету. Больше она его не видела. Когда бомбежка кончилась, ей сказали, что отец погиб — сгорел, пытаясь спасти свою машину. Отец Лены успел подняться в воздух, первым вступил в неравный бой. Быть может, он и сейчас еще воюет, а может быть... Кто знает. Вестей от него нет.

Потом они выехали из Львова. В первый же день фашистские летчики разбомбили эшелон. Мать и бабушка Симы, мать и младший брат Лены — все погибли.

* * *

Шел сентябрь. На рассвете, когда девочки выходили в поле, их пробирала дрожь. И однажды утром Октябрина не смогла подняться. Таня пыталась ее разбудить, но Октябрина и глаз не открыла, только пробормотала что-то невнятное дочерна запекшимися губами. Испуганная Таня бросилась к Анне Захаровне — та, по счастью, не успела еще уйти.

С горькой жалостью посмотрела Малыгина на заострившиеся черты девочки, на сбившиеся влажные и потемневшие волосы. От Октябрины так и несло жаром.

— Опять малярня свалила Октябринку, — сказала Анна Захаровна. — Да и как не свалить. И по росе и в самую жару — все на этой свекле, будь она неладна... Напиться Октябринке подай, — приказала она Тане, — а я к директору за машиной.

Машину удалось высвободить только к вечеру. Таня не отходила от Октябрины ни на шаг. Всю дорогу

она не спала, не отдыхала и в Чкалове с рук на руки передала едва живую Октябрину Зинаиде Николаевне.

Дома Октябрине постепенно полегчало, но еще долго не было сил даже приподнять голову от подушки. Часами она лежала неподвижно, с открытыми глазами, горько сжав губы, и думала, думала... Никогда еще Зинаида Николаевна не видела свою девочку такой притихшей, несчастной, словно погасшей.

— Потерпи, дочура, поправишься, — уговаривала она.

— Сколько терпеть? Люди воюют, работают, а я со здоровьем своим нянчусь, — сквозь зубы говорила Октябрина.

В редкие часы, когда удавалось вырваться из госпиталя, забегал домой Николай Васильевич.

— Не горюй, дочка. Начнутся занятия, будешь учиться. Не всем на фронт идти, здесь тоже люди нужны. Погляди, как ваша Анна Алексеевна действует: и с ребятами и в госпитале — на все ее хватает.

Октябрина не спорила. Но так же плотно, точно от боли, были сомкнуты ее губы, и потемневшие глаза подолгу неподвижно смотрели куда-то далеко, сквозь стену.

* * *

Первого октября в институте начались занятия.

— Октябрина, Иночка! Иди сюда! — закричало сразу несколько голосов, едва Октябрина подошла к институту.

Она увидела у входа своих «совхозниц» — Таню с Галей и Симу с Леной. Бригада только накануне возвратилась в Чкалов.

Они вошли в аудиторию и огляделись. Сели, потеснившись, все вместе. Аудитория была уже полна, и что-то в ней поразило Октябрину. Как похоже на класс, и вместе с тем... что же тут необычное, странное? Не сразу она поняла: вокруг — одни девичьи лица. Война.

В дверях появился грузный, немолодой человек и прямо с порога начал:

— Здравствуйте, друзья мои. Будем знакомы: Синцов Игнатий Федорович, ваш декан. В тяжелое время

встретились мы с вами, в тяжелых условиях придется работать. Прежде всего хочу сообщить вам, что администрация идет навстречу желанию, которое еще до начала занятий высказывали многие товарищи. Заниматься вы будете в две смены, так что все желающие смогут одновременно работать на производстве. Подайте соответствующие заявления в деканат. Ваш курс будет учиться во вторую смену.

Он еще что-то говорил, еще несколько раз назвал их «друзья мои», а Октябрина слушала и думала: как странно, голос у него тусклый, невыразительный, совсем не соответствует словам. И лицо неподвижное, и глаза какие-то равнодушные. А впрочем, что я придираюсь? Просто он уже старый и, наверно, много работает, устает.

— Хорошо, что две смены, — шепнула ей Галя. — Пойду на завод.

* * *

Ноябрь.

Свистит и метет ноябрьский ветер, треплет косые пряди снега по тускло освещенной улице. Никак не одолеют снежную муть фонари — горят в полнакала: экономим электроэнергию. Вдоль тротуаров, вдоль домов — сугробы, трудно пробиться пешеходу. Ноябрь. Глухая снежная тишина. Нет сил выносить ее — ведь там, на западе, сейчас режут пожары, грохочут орудия. Враг топчет нашу землю, рвется к нашей Москве.

Идет девочка по снежной пустынной улице, борется с ветром, борется с трудными, невеселыми мыслями.

«Уже месяц, как фашисты захватили Брянск. А я — здесь».

Да, конечно, и здесь нужны люди. Нужно работать в тылу, не щадя себя, не помня о себе, чтобы армия могла воевать. Об этом ей и Энчик говорил, убеждал, что ее место здесь.

Совсем неожиданно, всего на три дня, приехал Энчик и вот навестил их. Вспоминали совхоз, Толю. А на другой день он и Эрнст Янович вдвоем отправились в военкомат. Они хотели вместе уйти в Латышскую дивизию, вместе освободить захваченную врагом Прибалтику. Но Эрнста Яновича вернули с пол-

дороги. На улице его встретил секретарь обкома партии:

— Куда это ты собрался, товарищ Лацетис?

— Воевать. Вот вместе с сыном идем, — спокойно ответил Эрнст Янович.

— Шутишь?

— И не думаю.

— Ты что, мальчишка? Бюро обкома спрашивал? Отпустили тебя?

Да, так и не пришлось Эрнсту Яновичу воевать рядом с сыном. Вот и папу тоже не отпустили на фронт, а как он просил. Но ведь Энчик пошел. А я? Я тоже не могу здесь. Не могу сидеть дома, когда идет война.

«Не могу», — с этой мыслью она подходит к дому.

— Да не завешивай ты окна, — еще за дверью услышала она голос матери. — У нас тут нет затемнения.

«Наши приехали!»

Октябрина рывком распахнула дверь. В кухне топилась плита, заставленная ведрами и кастрюлями. На полу валялись какие-то платки, телогрейки, ватные брюки. На табуретке, прислонясь к стене, сидела исхудалая, совершенно седая женщина с обтянутым лицом и ввалившимся, в черных кругах, глазами. Октябрина с трудом узнала тетю Катю. Тетя Поля, тоже худая, постаревшая, помогала Зинаиде Николаевне готовить воду в корыте. Вера и Надя разбирали какое-то белье. Тамара, точно маленькую, раздевала совсем обессиленную, бледную Любу. Только по росту, по цвету волос, почти по догадке Октябрина и узнала сестер — так они все изменились.

— Скажи спасибо, что хоть живы остались, — медленно, с усилием сказала тетя Катя, встретив испуганный взгляд Октябрины.

Да, надо было и радоваться и удивляться тому, что они уцелели — так много страшного было пережито, так страшен и тяжок долгий путь с родной Брянщины, откуда они бежали в последнюю минуту, под обстрелом, под бомбежками. Любочка быстро выбилась из сил. И пока их не подобрала попутная машина, Тамара то вела ее, то прямо на себе тащила... Октябрина

слушала их отрывочные, немногословные рассказы, и совсем черно становилось у нее на душе. Немцы на Брянщине. В Дятькове. В старой просторной школе, где столько лет учила детей тетя Катя. Они шагают по саду, где стоит скамейка на березовых столбиках, по полю, где когда-то Октябрина училась жать. А может быть, уже и скамьи нет, и школа сожжена или превратилась в фашистский застенок, и то поле перепахали гитлеровские танки... А Толя... Где он сейчас?

Несколько дней родные отсыпались, приходили в себя. Потом тетя Катя и тетя Поля стали добиваться назначения куда-нибудь на село, в школу.

— А я пойду на курсы трактористов, — сказала Тамара. — К посевной выучусь.

Теперь она уже не казалась такой хмурой и молчаливой, как раньше, может быть, потому, что все сестры стали такими же. Даже Надя. Даже Любочка.

Любочка плохо спала по ночам, среди бела дня вздрагивала, пугаясь каждого стука и шороха. Однажды они с Октябриной возвращались из магазина. Вдруг Любочка порывисто прижалась к сестре, обхватила ее обеими руками, уронив корзинку. В расширенных глазах ее, поднятых к ясному зимнему небу, Октябрина увидела ужас и отчаяние.

— Что ты, Любочка?

И вдруг поняла. Высоко в небе пронеслась тройка самолетов, за ней — другая: стремительные, легкие «ястребки».

Не сразу ей удалось успокоить сестренку.

...Вскоре родные уехали в район: тетки — учить, сестры — учиться. Проводили их, и как-то особенно, непривычно пусто показалось Октябрине дома.

«Не могу, — снова и снова думала она. — Не могу. Лекции, конспекты, зачеты... Глаза бы мои не глядели. Неужели так и не пустят на фронт?»

* * *

— Смирнова! Где Смирнова? Иди скорей! Комсorghов вызывают в комитет.

Бросив портфель на руки Тане, Октябрина на сере-

дине лестницы повернулась и побежала в комитет комсомола.

— После первой лекции ваши ребята поедут на железную дорогу расчищать пути. Смените второй курс, — сказали ей.

Зима была снежная, город душило заносами, и уже не первый раз выходили студенты с лопатами на пути. Привычно быстро собрались и сегодня. Работали тройками, у каждой тройки — свой участок. Октябрина, как всегда, вместе с Галей и Таней.

Когда уже разобрали лопаты, к Октябрине подошла Сима Грушко:

— Поставь меня в другую тройку.

— Тебя и Лену?

— Меня одну. Не туда, где Лена.

— Почему?

— Так просто.

Странно. Октябрина перехватила взгляд Гали, увидела многозначительную гримаску Тани. Нет, что-то здесь не просто. Но она не стала больше спрашивать.

— Галка, поменяешься? — Галя кивнула. — Тогда становись со мной и с Таней, — предложила Октябрина Симе.

Ни слова не говоря, Сима стала рядом с нею.

Студентки работали дружно, напористо. Каждый час устраивали пятиминутный перерыв и вместо отдыха бегали на соседние участки смотреть, чья тройка больше сделала.

Поздно вечером закончили работу. И едва успели сдать лопаты, Сима незаметно исчезла. Лена возвращалась вместе со всеми. Это было так необычно — видеть ее одну, без Симы, что ее поминутно спрашивали:

— А где же Грушко? Куда она делась?

— Уже ушла, — сдержанно отвечала Лена.

Назавтра на лекциях Лена и Сима впервые сидели в разных углах аудитории.

После занятий Октябрина догнала Лену.

— Я тебя провожу немного.

Лена как будто и не удивилась:

— Пойдем.

Октябрина сбоку посмотрела на ее прямой, спокойный профиль. Неужели и правда не удивилась? Ждала, что заговорю? Значит, и в самом деле у них что-то произошло.

Кем-кем, а дипломатом Октябрина никогда не была. И она начала без подходов, в лоб:

— Слушай, Лена, может быть, ты мне скажешь, что у вас случилось?

— Случилось? — как будто нехотя повторила Лена. — Да нет, ничего особенного.

И так досадливо нахмурилась, так покраснела, что



даже в тусклом свете редких фонарей было видно. Нет, она тоже не была дипломатом и очень плохо умела уклоняться от прямого вопроса.

— Ты извини, что я так, — продолжала Октябрина. — Но ведь все мы не слепые. Вы так вдруг стали избегать друг друга...

Лена помолчала. Потом подняла на Октябрину усталые, какие-то очень взрослые глаза.

— Другому я бы просто ответила: не суйся не в свое дело, — начала она. — А тебе вот что скажу: у нас действительно... Нехорошо у нас получилось. Но я надеюсь, что мы сами разберемся. А если не выйдет... Нет, я думаю, мы все-таки сами.

— А может быть, лучше вместе подумаем?

— Нет, Ина, сперва попробуем сами. Я Симу хорошо знаю, мы ведь с ней как родные.

Октябрина вспомнила осень в совхозе, сводку о падении Чернигова, белое, как бумага, лицо Симы в густеющих сумерках... И сказала тихо:

— Будь по-твоему.

* * *

Зима на дворе, доверху замерзли окна. Но в открытой форточке — лоскуток такого яркого, такого праздничного неба, словно уже весна. И на душе празднично.

Дали им, как следует дали! Не видать им Москвы!

Нет, не усидеть на месте за книгой. Что бы такое сделать, прямо руки чешутся...

Октябрина быстро накинула старый халатик, убрала волосы под косынку. Прежде всего обметем потолок.

Уже нигде не осталось ни пылинки, и она совсем было собралась мыть пол, когда в дверь постучали и, не дожидаясь ответа, в комнату ворвалась Галя — ватник нараспашку, ушанка на затылке:

— Денек-то какой, а? Надавали фрицам!

— Здорово надавали! А ты откуда?

— Да, понимаешь, пустили отгулять. Я ведь два выходных подряд работала. У тебя что, генеральная уборка?

— Вроде того. Захотелось размяться.

— Размяться? Правильно!

Ватник и ушанка полетели на стул. Галя деловито огляделась:

— Это можно взять?

Повязалась фартуком Зинаиды Николаевны, стала посреди комнаты — руки в боки, — критически прищурилась:

— Пол вымыть — это само собой. А дальше что? Мел у тебя есть?

— Найдется.

— Значит, белим печку. Ладно. Чего бы это еще вытворить?

Октябрина засмеялась:

— Знала бы ты, до чего у тебя вид хищный! Точно ты эту самую печку сейчас съешь.

— Съем, факт, — машинально ответила Галка. И вдруг просияла: — Знаю! Сейчас переставим.

— Что переставим? — немного даже растерялась Октябрина.

— Все. Давно пора. Третий год к тебе хожу, а у тебя все как к полу приросло. Во-первых, шкаф туда. Диван сюда. Этажерку тоже передвинем.. Такой наведем уют, вот увидишь!

И они в четыре руки принялись наводить уют. Переставили и правда удачно. Потом Галя скомандовала:

— Давай мажь печку, а я полы вымою. Обожаю мыть полы.

И они принялись за работу.

Вытрем там, почистим тут —
И получится уют, —

запела Октябрина на мотив песенки водовоза из «Волги-Волги».

— Бум! Бум! — басом откликалась Галя после каждого мазка. Вымыла переднюю половину и с разбегу с громом повезла из угла в угол сложенные пирамидкой стулья.

— Поехали дальше!

Отступила на шаг и... опрокинула ведро. Ах, ты, черт.

Лужа там и клякса тут —
Называется уют! —

со смехом пропела Октябрина.

— Вот ты как?

Молниеносным движением Галя выхватила у Октябрины помазок. Раз! — и на щеке у маляра действительно появилась свеженькая белая клякса.

Галя, конечно, и выше и сильнее. Но когда дело доходит до быстроты и ловкости, еще неизвестно, чья возьмет.

Два! Помазок уже в руках Октябрины, а у Галки на лбу — широкая белая полоса.

Они так хохотали, что даже не услышали, как открылась дверь и Зинаида Николаевна в смятении остановилась на пороге.

— Милые мои, да что же это у вас тут!

— Не пугайся, мамочка! Мы уже почти кончаем. Зато смотри, как хорошо переставили.

Обе они были такие красные, веселые, гордые, что у Зинаиды Николаевны не хватило духу протестовать. А когда еще час спустя все было окончательно вымыто, протерто и расставлено, оказалось, что в комнате и впрямь стало очень славно.

— Гораздо лучше прежнего! — восхищалась Октябрина. — Правда, мамочка, лучше?

— Правда, девочки, правда.

И вот они сидят перед свежее выбеленной просыхающей печкой, отдыхают.

— А знаешь, — вдруг вспоминает Галя, — идя сегодня к тебе, смотрю, Лена дрова колет. А вот чтоб Симка колола — сколько хожу мимо, ни разу не видала. И вообще не нравится она мне. Зря Ленка с ней так нянчится.

— Что значит «нянчится»? Просто они друзья.

— Какая это дружба, — пожала плечами Галя. — Лена человек стоящий, по всему видно. А эта, по моему, просто на ее горбу выезжает. Вроде того, как Танька в школе на тебе ездила.

— Ездил и перестала, — обиделась за Таньку Октябрина. — Пора забыть про это. Смотри, какой она теперь молодец.

— Потому и молодец, что с чужого горба скинули.

— Что с вами, девочки, — не выдержала Зинаида Николаевна: — Того и гляди, вправду поругаетесь.

— Не поругаемся, — сердито сказала Октябрина.

И обе умолкли, надулись недовольные друг другом. Зинаида Николаевна сидела у стола с шитьем и изредка, пряча улыбку, посматривала на них, как на маленьких. В комнате стало тихо, только тикали часы да в трубе гудело. Галя наклонилась, подкинула в печку полено. Розовые отсветы заплясали на ее скуластом нахмуренном лице, в черных сердитых глазах.

Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза, —

вполголоса запела Октябрина.

И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза, —

чуть не октавой ниже подтянула Галя.

Зинаида Николаевна отложила шитье, подседа к девочкам. Октябрина прислонилась к ее плечу, Галя тоже придвинулась поближе. А песня все лилась и лилась, проникая в самое сердце.

* * *

— Нет, товарищи, больше так невозможно! Ну, что это в самом деле: тычу-тычу пером в чернильницу, а чернила замерзли!

Да, замерзали чернила в чернильницах, одеревеневшие пальцы с трудом удерживали карандаш. На лекциях все сидели в пальто, тесно прижавшись друг к другу. Человек двадцать постоянно оставались в институтской читальне на ночь. Дома у многих еще холоднее, а тут все-таки все вместе и как-то легче оттого, что рядом кто-то тоже не спит и вот может же заниматься, несмотря на холод.

Но сегодня у Татьяны лопнуло терпение, и ее жалобный вопль словно разбудил всех.

— Девочки, правда, ну, давайте же что-нибудь придумаем, — раздался голоса.

— Да что придумаешь, топить-то нечем.

— А может быть, все-таки можно времянку поставить, — предложила Лена.

— Просили уж, я на той неделе опять к Игнатию Федоровичу ходила, — отозвалась Октябрина.

— Ну и что он?

— Говорит, и на времянку дров нет.

— Ура! — вдруг во все горло крикнула Татьяна.

К ней изумленно обернулись:

— Ты что?

— Придумала! Честное слово, девочки, придумала! Ну, сколько для нее дров надо? На улицах солома валяется? Валяется. И щепки. И палки. И досточка-другая найдется, надо только глядеть в оба.

— Гениально! Ай да Таня! Только когда же собирать эту благодать?

— Подумаешь, какое дело! Будем дежурить.

— Правильно! Пускай дежурные ходят с утра и подбирают, что попадется. А вечером будем топить. Ай да Таня! Теперь только бы времянку поставили.

— Еще как поставят! — весело сказала Октябрина. — Сейчас пойдем к декану, пускай попробует отказать.

Нет, на этот раз декан не отказал. Уже через три дня черный железный уродец с жадной четырехугольной пастью, на кривых ножках, точно на корточках, важно стоял посреди читальни. И теперь читальня стала любимым местом в институте: наконец-то есть где подготовиться к семинару, к зачету, не стуча зубами.

А зачет предстоит для литфаковцев нелегкий: по агротехнике. Ее ввели для всего первого курса. Время военное, наверно, весной все студенты выедут на посевную.

У Октябрины дома тепло. Но и Октябрина допоздна засиживается в читальне. Сегодня у нее самый трудный материал к зачету — тракторный мотор.

Почему этот винт крутится вправо? Ну, почему?

Время летит, посмотришь на часы — прямо страх

берет. А мотор все не дается. Может, спросить кого-нибудь? Галку, она уже, наверно, разобралась.

А если в поле мотор заглохнет? Тоже побежишь за кем-нибудь? Нет, дудки. Разберусь сама.

От печурки тянет жаром — сразу чувствуется, что дежурит Лена Вихревая. Глаза слипаются, голова сама собой опускается на скрещенные руки.

Неужели уснула? Нет, ничего, и пяти минут не прошло.

Октябрина пальцами приподнимает отяжелевшие веки. Начнем-ка все сначала.

Ага, вот, наконец, и понятно, почему он вертится вправо. Дальше все проясняется быстрее. Вполне могла бы поработать еще часок-другой. Но нельзя. Мама не уснет, будет беспокоиться.

Скорее домой! Город уже давно спит, во всех окнах темно, только позади еще раз блеснули и пропали за углом освещенные окна институтской читальни. На улицах — ни души, один ветер гуляет. Скорее, скорее домой.

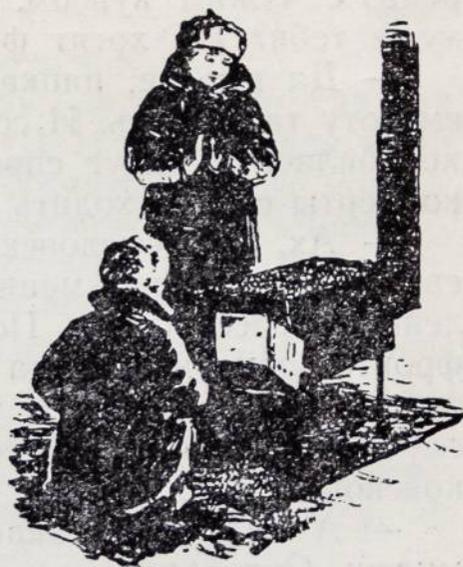
Еще издали она поняла, что дома отец. Когда он приходил, Зинаида Николаевна, как в праздник, зажигала верхний свет, а обычно они сидели при настольной лампе.

— Папка, ты не бережешь себя, — говорит Октябрина, обнимая отца. — Смотри, какой худой стал, и морщин сколько.

— Ничего не поделаешь, дочка. Вот разобьем Гитлера, тогда морщины сами разгладятся.

— А все-таки побереги себя. Хоть немножко.

— Ты, брат, на себя погляди. Вон мать рассказывала, ты опять на разгрузку вагонов ходила не в оче-



редь, с чужим курсом. Что же, ты думаешь, другие хуже тебя? Не хотят фронту помочь?

— Да нет же, папка. Я понимаю. Но просто... не-вмоготу так сидеть. И совестно. — Она помолчала, поколебалась и вдруг спросила: — А как по-твоему, на концерты сейчас ходить можно? Музыку слушать?

— Ах, чудак-человек! — смеется Николай Васильевич. — Я думал, у меня дочь взрослая, а она как маленькая рассуждает. Почему же нельзя? Бойцу на фронте спокойнее, когда он знает, что в тылу люди не только работают, но и учатся, читают, даже музыку слушают. Так что можешь завтра идти слушать Чайковского.

— А ты откуда знаешь, что Чайковского? — изумилась Октябрина.

— Да ведь афиши расклеены, и нам для ходячих раненых прислали билеты.

* * *

Даже непонятно, как можно человеку жить без музыки. Так поднимает она, так берет за сердце...

Шли медленно, прямо по мостовой. Галка уверенно, по-мужски насвистывала мелодию из первого фортепьянного концерта. Октябрина взяла ее под руку, вполголоса стала подпевать. Вот и Лена подтянула: вторит мягким, глубоким альтом.

Одна Сима идет задумавшись, опустив голову.

— А все-таки сейчас на концерты часто ходить нельзя, — вдруг сказала Октябрина. — Даже вредно.

Галя и свистеть не перестала, только бровью повела в ее сторону. Ладно, мол, выдумывай. Зато Лену это изречение прямо ошарашило:

— Что это с тобой? Что ты такое говоришь? Музыку слушать вредно?

— Да, да, серьезно. Ведь такое трудное время, а музыка размягчает. Разве не помнишь, даже Ленин про Бетховена так говорил.

— Ну, уж Бетховен-то не размягчает, — сказала Галя, на минуту переставая свистеть. — У него в музыке сила, героизм.

— У него есть разная музыка. Но он весь замечательный, — сказала Лена. — А ты его любишь, Ина?

— Очень. Почти как Чайковского.

— Вот уж этого я не понимаю, — резко сказала Сима. — Как можно сравнивать! И вообще как можно слушать немецкую музыку. Думать о них не могу.

— О ком это «о них»? — поинтересовалась Галя. — Может, у тебя и Бетховен в гитлеры попал?

— Знаешь, для меня сейчас все немцы одинаковы.

— И Гейне? — спросила Октябрина. — И Маркс? И Тельман тоже?

— Сколько их таких? А фашистов миллионы.

— Все равно, Бетховена фашистам отдавать нечего, — рассердилась и Октябрина. — Я, например, от него отказываться не собираюсь.

— А все-таки лучше нашего Чайковского нет на свете, — сказала Лена. — Вы только подумайте, девочки, как это хорошо!.. — и снова стала напевать захватившую всех мелодию.

На углу они попрощались: Октябрине с Галей нужно было в одну сторону, Симе с Леной — в другую.

— Что ж они, опять вместе? — спросила Галя. — Помирились?

— Они уже и вчера на лекциях вместе сидели.

— Не подходят они друг другу.

— Ну, знаешь, когда люди столько вместе пережили...

Сами того не заметив, они вышли к реке.

— Постоим? — предложила Галя.

Как бело кругом! Какая тишь! Стоишь на крутом берегу — и так глубоко дышится, так просторно и ясно думается. Сколько раз и в плохие и в хорошие свои часы приходила сюда Октябрина, сколько всего вспоминается...

— Где-то наши ребята, — задумчиво сказала Галя. Должно быть, и ей вспомнилось то же. — Как-то они на фронте? Ты смотри, писем почти ни от кого нет. И от Ильки нет.

«И от Толи нет, — подумала Октябрина. — Но может быть, это ничего? Он ведь и раньше совсем не писал.

Раньше другое дело. А вот теперь должен бы на-

писать. Неужели не помнит? Неужели не понимает, как тревожно не знать, где твой друг в такое время, жив ли? Где-то ты сейчас?..»

* * *

Кончились лекции. Девушки торопливо собираются: кто позаниматься час-другой перед сном, кто, как Галя Харбинова, выспаться до завода, до утренней смены. А Таня с Октябрьиной сегодня дежурят в госпитале.

Обидно, конечно, что институт шефствует не над тем госпиталем, где работает Николай Васильевич. Вот и вышло, что они с отцом почти не видятся. Но какое странное чувство: приходишь в свой десятый «Г», а там уже не класс — палата. И все-таки что-то очень родное в этих стенах, которые летом сами красили, в лестницах и коридорах, по которым столько бегано и хожено.

Палатная сестра передала Октябрьине дежурство и тихо вышла. Почти все уже спали, только в углу двое переговаривались шепотом.

Октябрьина обошла палату. Поправила спящим одеяла, подушки, укрыла тех, кто разметался в тяжелом сне, отворила форточку.

— Сестрица! — негромко окликнул один из тех, в углу, что не спали.

Октябрьина подошла.

— Что, Филипп Иванович? Пить хотите?

— Не пить, сестрица, курить. Терпенья нет.

— Погасло у нас. Видно, жинки дома зажурились, — прибавил другой, седоусый. — Добудь огоньку, дочка.

Левой рукой он протянул ей толстую самокрутку. Правая была отнята по локоть.

Октябрьина взяла самокрутку и побежала вниз, в котельную. Открыла тяжелую чугунную дверцу. Лицо обдало жаром, и, как всегда в бессонные ночные дежурства, Октябрьину потянуло сесть поближе к топке и не двигаться и долго смотреть, как неумоимо пляшет огонь, как дрожат розовые отблески на стенах, на полу. Но задерживаться было нельзя. Кажется, из всех обязанностей дежурной она больше всего

не любила эту: прикуривать. Но ничего, на этот раз только чуть подпалила волосы. В прошлый раз было хуже: опалила ресницы.

Она торопливо поднялась в палату, протянула Филиппу Ивановичу самокрутку. Седоусый тоже прикурил.

— Замучили мы сестрицу нашей махоркой, дядя Опанас, — сказал Филипп Иванович, с наслаждением затягиваясь.

— А что-то ты сегодня невеселая, дочка, — сказал седоусый боец, стараясь в полутьме разглядеть лицо Октябрины.

— Да нет, ничего, дядя Опанас.

— Чего уж там ничего. То все улыбалась, а то вон какая сумная.

Октябрина промолчала.

— А пришла та газета, сестрица? — спросил Филипп Иванович.

— Какая газета?

— А вот что по радио передавали. Про девушку Таню.

— Пришла, — тихо ответила Октябрина.

Московские газеты приходили в Чкалов на третий день. И сегодня был получен тот номер «Правды», о котором спрашивал Филипп Иванович. Это была «Правда» от 27 января 1942 года. Из нее мы впервые узнали о том, как погибла в селе Петрищеве московская школьница, назвавшая себя Таней.

— Прочитать бы, — сказал Филипп Иванович.

— Завтра, — ответила Октябрина. — Поздно сейчас, еще разбудим кого-нибудь.

— Девушка, а какую смерть приняла... Душа горит, как подумаю.

— А ведь зовсім ще дитына, — медленно проговорил дядя Опанас. — Вон як ты.

И его серые, много видевшие глаза с печалью остановились на лице девочки в белом халате.

Октябрина отошла к своему столику, где неярко горел ночник. Машинально раскрыла конспект. В иные дежурства удавалось позаниматься. Но сегодня ей было не до конспектов.

«Таня. Московская школьница. Дитына... Да, такая же девчонка, как я. А сумела бы я так?»

Она заслонила глаза рукой. И вновь увидела газетный лист, фотографию, в которую с острой болью вглядывались в те дни тысячи и тысячи людей. Какое лицо! Кто она была, эта школьница Таня? Вот она добилась, пошла. Ее послали...

Самокрутки в углу давно погасли, все уже спали в пятой палате. Кто-то стонал, кто-то дышал тяжело, хрипло. А Октябрина все сидела, облокотясь на столик, на забытый конспект, и думала, думала...

Вошла пожилая сестра:

— Раненых привезли. Идите вниз помогать.

К подъезду госпиталя одна за другой подъезжали машины. Санитары, сестры, дежурные шефы вносили раненых в дом.

«Только бы не упасть, — с отчаянием твердила себе Октябрина, поднимаясь на второй этаж с тяжелыми носилками. — Вдруг упаду... Нет, донесу. Непременно донесу». Никогда в школьные годы эта лестница не казалась такой крутой, такой длинной. Десятая ступенька. Одиннадцатая. Двенадцатая. Теперь четыре шага прямо и три налево. Можно опустить носилки. Октябрина прислонилась к стене, ощутила ее плечами, затылком — прохладную, гладкую. И ей стало немного легче.

...Но вот, наконец, светает. Кончается долгая ночь дежурства. Торопливо сняв белые халаты, студентки выходят из госпиталя.

— Ты живая? — спрашивает Татьяна.

Упрямо тряхнув головой, Октябрина отвечает:

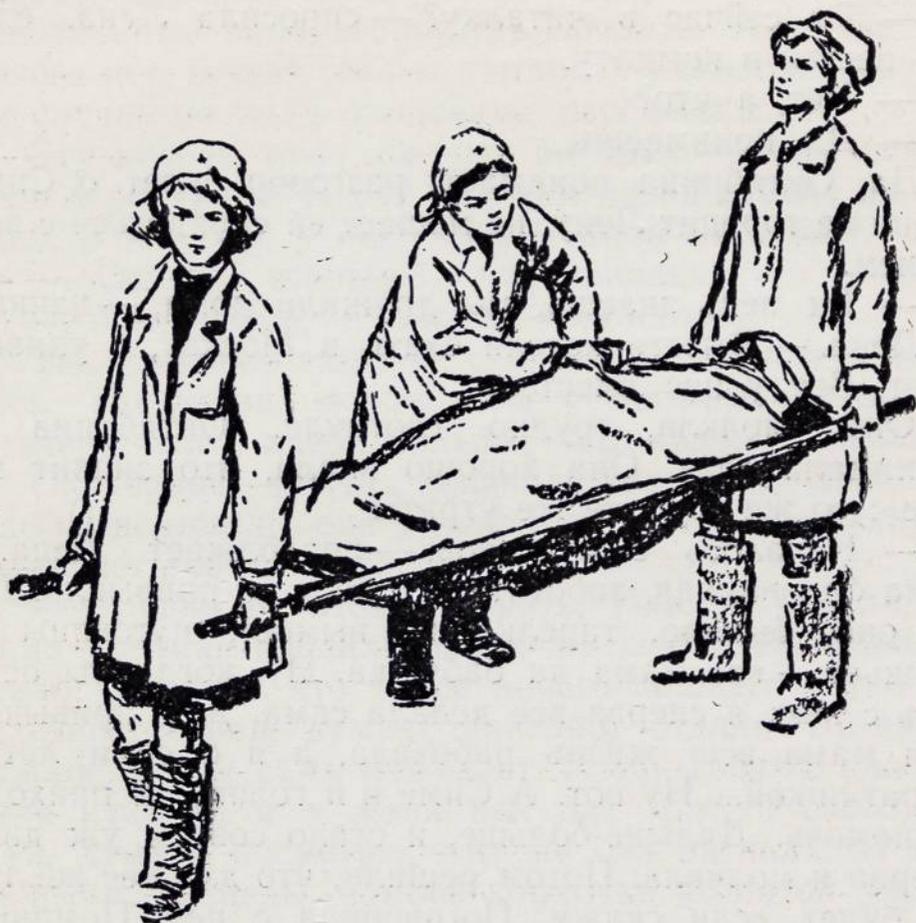
— Конечно, живая!

* * *

Какой холод в комнате! Страшно руку из-под одеяла высунуть, глаза открыть — и то страшно! А надо вставать. И как когда-то, в давние, прямо незапамятные времена, Октябрина начинает про себя: «Раз, два, три... Вот сейчас досчитаю до двадцати...»

Двадцать. Ничего не поделаешь!

Вскочила. Ежась и морщась, а все-таки вымылась



до пояса ледяной водой, растерлась — и сразу стало тепло. Самое короткое дело — завтрак. Вот и с ним покончено. Теперь в сарай.

Вынесла во двор поленья, свалила у колоды, огляделась. Мороз! А небо чистое, ясное. Все в инее: деревья, заборы, провода, все искрится в первых солнечных лучах. И ресницы сразу заиндевели.

Что ж, погреемся! Октябрина взмахнула топором. Скванные морозом поленья разлетаются с одного удара, только звон стоит. Вот наколола уже целую гору, а бросать не хочется. И совсем не устала. Ни капельки.

Ну, хватит. И, сложив дрова в сарай, она пошла к дому.

Стукнула калитка, под чьими-то торопливыми шагами заскрипел снег. Октябрина обернулась и увидела Лену. Лицо у нее сосредоточенное, решительное. Октябрина насторожилась.

— Ты сейчас в читалку? — спросила Лена, едва они вошли в комнату.

— Нет, а что?

— Да понимаешь...

Да, Октябрина понимает: разговор будет о Симе. И она не торопит Лену, не мешает ей справиться с волнением.

— Ты ведь знаешь, мы дружили дома, — начинает Лена. — Вместе хотели ехать в Москву, в университет. Все у нас вместе...

Она умолкла, трудно глотнула. Октябрина не поднимала глаз. Она хорошо знала, что значит это «все»: то же горе, те же утраты.

— Началось с пустяков, — продолжает Лена. — Сима балованная, заботиться о себе не привыкла. Дома она, бывало, тарелки не вымоет, пуговицы не пришьет — все мама да бабушка. Ну, когда мы остались с нею, я сперва все делала сама. Я-то привыкла. Моя мама всю жизнь работала, а я с семи лет — с братишкой... Ну вот. А Симе и в голову не приходило помочь. Дальше-больше, и стало совсем уж дико. Сперва я молчала. Потом решила, что для нее же лучше будет, если скажу. Поговорила с ней. Помнишь, один раз, когда мы снег чистили?

— Помню, конечно.

— Она сначала разобиделась. Несколько дней мы тогда не разговаривали. А потом как будто опомнилась она. Заплакала даже. И знаешь, от ее слез мне как-то полегчало. Ведь она мне как родная. Ей стыдно. Значит, поправится. В первый раз ведь.

«В том-то и дело, что не первый раз, — подумала Октябрина. — Ведь в совхозе тоже... И Лена не знала тогда, куда уходила Сима по вечерам. Значит, права была Танюшка: не от стыда она тогда работала, просто боялась, что уличат. Сказать сейчас Лене? А зачем говорить? Вот если бы мы тогда сказали...»

— Пошло у нас получше, — продолжала между тем Лена. — А вот теперь случилась очень страшная вещь. Мы не дотянули до конца декады с хлебом. Понимаешь, забрали по одной карточке пряники вперед на три дня. Остался хлеб по одной карточке, и

картошка у нас была. Сима сказала, что без хлеба невозможно, надо что-нибудь продать. А у нас ведь ничего нет. Вещей совсем немного. Я сказала: ни в каком случае не надо продавать, перебьемся.

Эту неделю она дежурит по дому — мы с ней теперь чередуемся. И вот два дня назад ставит на стол хлеб, и я вижу: у нас столько быть не может.

— Откуда столько? — спрашиваю.

— Моя тайна, — говорит. — Достала.

Так спокойно сказала, с улыбкой. Ну и я успокоилась. Подумала: может, она у кого-нибудь заняла. А вчера опять хлеба больше, чем надо. Понимаешь?

Октябрина молча покачала головой. Нет, она еще не понимала, она только с тревогой слышала, как нарастает горечь в голосе Лены.

— Трудно об этом говорить, Ина. Я поняла, что Сима все-таки продала что-то из вещей. Досадно мне стало, знаю же, что у нее ничего лишнего нет. Такая нехозяйственная, думаю, наверно, отдала что-нибудь нужное, потом сама пожалеет. И так вышло: она ушла куда-то, а у меня как раз минута свободная. Дай, думаю, посмотрю, что же она загнула. И вот... ее вещи все целы, а моей кофточки вышитой украинской нет. Я верить не хотела, весь дом перерыла — нету. Пришла Сима, я спрашиваю: зачем ты блузку продала, почему меня не спросила? А она... она знаешь, как ответила? «Не продала, а на хлеб сменяла. Ты сыта сегодня? Или, по-твоему, лучше сидеть голодной и держаться за какие-то тряпки? Для меня, например, здоровье дороже».

Лена с трудом перевела дыхание. Не сразу ей удалось снова заговорить.

— И, понимаешь, с такой злостью она это сказала. А ведь она хорошо знает — это для меня не тряпка. Что блузка, пустяки. Но ведь мне ее мама вышивала. Это память, понимаешь. Больше ничего не осталось.

И опять она замолчала надолго.

«Так вот оно что, — думает Октябрина. — Гадость какая. И ведь хватись мы тогда в совхозе, может быть, этого бы и не случилось...»

— Вот скажи, что делать? — горько спрашивает Лена. — Я просто не знаю, как сейчас домой приду. Как смотреть на нее? Ну, как мне теперь с ней жить? Как бы ты на моем месте?

— Не знаю, — растерянно говорит Октябрина. — Честное слово, Ленка, не знаю. Дай подумать.

И снова они молчат. Потом опять и опять говорят все о том же.

— Ты пойми, — повторяет Лена. — Пока все было хорошо — и она была хорошая. Я вот думаю, если бы не война, сколько еще лет бы прошло, пока я узнала бы ей настоящую цену!

— А может, если бы не такое время, не война — и не поскользнулась бы Сима, — в раздумье говорит Октябрина. — Была бы человек как человек. Знаешь, пока не требуется ни усилий, ни жертвы — все может идти превосходно, целые годы, целая жизнь. Но не попадайся ничего на дороге, а то быть беде, преступлению или стыду.

— Вот-вот, именно так с нею и получилось... А что это ты, как будто стихи на память читаешь? — запоздало удивилась Лена.

— А это Герцен сказал. Я его очень люблю, он необыкновенно понимает людей.

— Да... так и получилось. Но что же с ней делать теперь?

— Слушай Лена, — нерешительно говорит Октябрина, — а если вызвать ее на группу? На группе с нею поговорить?

— На комсомольскую группу? — недоверчиво переспросила Лена. — Странно как-то. Все-таки это наши личные дела.

— Какие же личные? — запальчиво ответила Октябрина. — Да она во всем такая! Она только о себе думает!

И тут она, наконец, рассказала Лене, как Сима в совхозе полола свеклу. Неужели и теперь Лена скажет, что это их личные дела?

Нет, Лена больше не спорит. Убитым голосом она говорит Октябрине:

— Да, ты права. Надо поговорить на группе.

В аудиториях, промороженных за долгую зиму, все сидят в пальто. Особенно холодны стены. Кажется, они уже никогда не отойдут, их не прогреет даже самое жаркое солнце. И никому не хочется сидеть у стен, все жмутся к середине, оставляя боковые и задние места свободными.

Только декан Игнатий Федорович, войдя и коротко поздоровавшись, прошел в самый конец аудитории, сел на последнюю скамью и устало привалился к стене. Против обыкновения он ни с кем не заговорил, сидит хмурый, раздраженный. Совершенно напрасно затеяли студентки эту историю. Подняли шум из-за пустяков. Компрометируют факультет. Зима, хоть и тяжелая, прошла довольно благополучно — и вдруг под занавес такая неприятность.

Волнуясь, часто останавливаясь на полуслове, Лена подробно рассказывает о том, что произошло с Симой. Октябрина давно уже расспрашивала ее, предлагала вмешаться, помочь. Но она все отказывалась, все надеялась, что Сима одумается, надеялась справиться своими силами. И вот не справилась.

Комсомолки слушают, почти не перебивая. Лишь изредка кто-нибудь охнет от возмущения и досады, кто-нибудь обернется к Симе, словно ждет, что она скажет что-то, объяснит. Но Сима, не поднимая головы, чертит в тетради какие-то ромбы и квадраты, будто и не о ней речь.

Договорила Лена. Села тут же у стола, опустила голову на руки.

— Ну что ж, высказывайтесь, — сумрачно предлагает Октябрина.

Но никому не хочется говорить. Наконец кто-то догадывается:

— Надо дать слово самой Грушко.

— Правильно! Верно! Пускай сама скажет! — соглашаются другие.

И Октябрина говорит сухо:

— Грушко, твое слово.

— Можно с места?

— Сюда выходи. Чтоб всем видно было.

Сима неторопливо выходит к столу. На ней пальто внакидку, плечи зябко приподняты. Вот она стоит перед всеми и смотрит не на обращенные к ней лица, а куда-то выше, в стену. Серые мрачные глаза резче обычного выделяются на побледневшем лице.

— Лена все правильно рассказала, — начинает она. — Только никакой трагедии я в этом не вижу. Подумаешь, блузку продала. Зато мы обе сыты.

— Да ведь у Лены больше от мамы ничего не осталось, — не выдерживает Октябрина. — Ведь это ее мама вышивала.

— Ну и что же? У меня тоже нет ничего мамино. Я ее и без вышивания помню.

— Плохо помнишь! — взрывается Галя. — Плохо помнишь, если на такое пошла!

— Не перебивай ее, — негромко говорит Октябрина. — Пускай она все скажет.

— Если вам не нравится, что я говорю, могу вообще не говорить, — сквозь зубы произносит Сима.

— Не нравится! Мало сказать не нравится! Понять невозможно, как у тебя язык поворачивается, — перебивают друг друга гневные голоса.

— Еще ломается! «Могу не говорить»! Да ты что, одолжение нам делаешь? — кричит Таня. — А про совхоз почему молчишь? Это, по-твоему, тоже не трагедия?

— А что совхоз? — вскидывает голову Сима. — Пускай я сперва плохо работала, я же все исправила. Ты сама была в контрольной тройке — может, скажешь, я плохо работала?

— Хорошо работала. Только не как люди. Просто струсила, что тебя поймают!

Сима молчит. Лицо у нее упрямое, злое. Она опустила голову, коротко стриженные темные волосы упали на лоб.

— Садись, Грушко, — говорит Октябрина.

Сима садится подальше от Лены, по другую сторону стола. Она и теперь не смотрит на обращенные к ней лица товарищей. Пальцем она чертит на колене какие-то ромбы, квадраты...

Поднимается Галя.

— Все ясно, — говорит она. Она успела немного поостыть и теперь намерена быстро довести дело до конца. — Гнать ее надо из комсомола и из института тоже.

Неясный гул проходит по аудитории. Согласны? Да, кажется, большинство согласно.

— Очень у тебя все просто, Галина, — с непривычной горячностью говорит Лена. — А если б с кем-нибудь из твоих близких случилось такое? С братом?

— С Юркой? — возмутилась Галя. — Да никогда в жизни!

— Ну, а если бы? Ты бы так его отовсюду и погнала?

— Да брось ты! Если бы, если бы! С настоящими людьми такого не бывает.

— И я не думала, что с Симой будет. А гнать... выгнать легче всего. Как же ты не понимаешь? — Лена с упреком смотрит на Галю. — Ведь гибнет человек! Я знаю, я сама очень виновата. Но что же теперь: пускай она пропадает?

— Ребята! — по старой школьной привычке восклицает Октябрина. — Неужели мы все вместе ничего не придумаем? Неужели так и дадим ей пропасть? Я не знаю, как быть, не знаю, что сделать, чтоб Сима поняла. Но только, если мы ее оттолкнем, ей конец.

Игнатий Федорович, о котором давно забыли, уже не первый раз недовольно смотрит на часы. А он-то рассчитывал сегодня вернуться домой пораньше... Да, неприятная история. Лучше всего бы, конечно, замять ее. Но с таким комсоргом, как Смирнова, разве замнешь...

— Товарищ комсорг, дайте-ка мне слово.

— Пожалуйста, Игнатий Федорович.

Все с тем же недовольным лицом декан проходит через аудиторию к столу.

— Мне кажется, друзья мои, — начинает он, обводя взглядом нахмуренные, взволнованные девичьи лица, — что вся эта затея ни к чему не приведет.

Сима перестала водить пальцем по платью, быстро, исподлобья взглянула на декана и снова опустила глаза.

— Мы напрасно тратим время, — продолжает он. — Грушко надо исключить. Идет жестокая война, люди на фронте жизни не жалеют, а Грушко думает только о себе. Поверьте моему опыту, здесь никакие уговоры не помогут.

И, не взглянув на Симу, он садится в стороне, у окна.

Тишина. Молчат комсомолки. Что можно сказать? Какой найти выход? Может быть, прав Игнатий Федорович, и нечего щадить человека, который в тяжкий час испытания думает только о себе?

Молодости свойственна прямолинейность. В девятнадцать лет трудно понять, что если человек и оступился, он еще может подняться. Что и тот, кто сегодня плох, не навсегда безнадежен, — если он молод, хорошее в нем еще может победить.

И они молчат, потому что трудно все-таки сказать человеку: из тебя ничего не выйдет. А что еще могут они сказать Симе Грушко?

— Нет, так нельзя! — прерывает молчание Октябрина. — Надо что-то придумать!

— Нельзя исключать! — вскакивает со своего места Таня Летаева. — Нельзя, понимаете? — говорит она чуть не со слезами в голосе. — Вот я вам скажу. Галя тоже знает. Со мной было в школе... в общем не лучше этого... И тоже хотели меня выгнать... А Октябрина и еще ребята не дали.

Да, ее хотели выгнать. А Октябрина и Илька не дали. Галя Харбинова вдруг опускает голову и краснеет до ушей.

— Не знаю, что бы со мной было, если б меня тогда ребята бросили. Вот, честное слово, пропала бы! А ведь все-таки потом... Честное слово, я потом ничего! — горячо говорит Татьяна, для убедительности прижимая руки к груди. — Сами видите, меня потом ребята даже в комсомол приняли. Пусть Галя скажет!

— Все верно, — коротко говорит Галя. У нее горят уши.

— Вот я и говорю, — продолжает Таня, — нельзя исключать! Вы думаете, почему она сейчас молчит? Ломается. Дура потому что. И я такая была. А знаете, как ей стыдно? Девочки, послушайте меня, нельзя ее исключать! Я не знаю, какой там у Игнатия Федоровича опыт, а я вам по своему опыту говорю: нельзя вот так бросить человека! У нее ведь семьи нет, только мы одни!

Задохнувшись, Таня широко раскрытыми глазами обводит аудиторию.

— Все!

И, разом растеряв все слова, садится на место.

— Правильно, Таня, — негромко, благодарно произносит Лена. — Выгнать никогда не поздно, помочь труднее.

Сима не поднимает головы. Вокруг — шум, говор. Согласны с Таней? А может быть, нет?

— Тише, ребята! — возвышает голос Октябрина. — Было два предложения.

— Я свое снимаю, — негромко говорит Галя.

— Игнатий Федорович тоже предлагал... — продолжает Октябрина. — Но я думаю, он настаивать не будет.

Десятки вопрошающих глаз обращены на декана. Он пожимает плечами.

— Хорошо, я не настаиваю, — говорит он сухо-вато.

— Остается предложение Летаевой: не исключать. Пускай Грушко просто подумает. А мы посмотрим. Кто за это?

За это — все.

Сима вышла из аудитории последняя, медленно спустилась по лестнице. У выхода ее ждала Таня. Ни слова не говоря, пошла рядом. Молча шли скудно освещенными полуночными улицами, спящими переулками. Вот и одноэтажный домишко, где квартируют Сима с Леной. Сима останавливается у калитки. Голова ее по-прежнему опущена, но Таня сбоку видит, как еще темней становится ее лицо. И вдруг говорит:

— Знаешь что? Пошли ко мне ночевать.

— Ладно, — глухо говорит Сима и отходит от калитки.

— Вот и хорошо! Только погоди минутку, я сейчас.

Сима не оборачивается. Она не хочет видеть, как Таня бежит через тесный дворик, стучит в слабо освещенное окно. Не хочет слышать приглушенных, торопливых голосов. Пошла предупредить Лену, чтоб не беспокоилась. Очень нужно. Она, наверно, только рада, что от меня избавилась.

Но тут же вспоминает лицо Лены и то, что она говорила на собрании, и еще ниже опускает голову.

За спиной — быстрые легкие шаги. Таня.

— Пошли, Сим. А завтра знаешь что? Завтра я пораньше за твоими вещами забегу. И будешь жить у меня.

— У тебя? — переспрашивает Сима. — А можно?

— Можно, конечно. Папа ведь на фронте, мы с мамой только вдвоем. Она же врач, день и ночь в госпитале, знаешь, как у них сейчас. Да она и слова не скажет.

— Спасибо... — тихо говорит Сима.

* * *

В глубине души Октябрина отлично знала, что опоздать невозможно — ведь еще такая рань. И все-таки торопилась. И когда вышла на улицу, ноги, не слушая никаких доводов и соображений, сами собой все ускорили и ускорили шаг.

Ну и, конечно, пришла к закрытым дверям. А вдруг сегодня выходной? Но нет, в объявлении ясно сказано: донорский пункт работает без выходных дней. Что ж, подождем.

Октябрина нетерпеливо шагает взад и вперед, протаптывая в снегу узкую дорожку, то и дело поглядывает на дверь. Подходят еще люди, самые разные: молодые и пожилые, почти старухи и такие же девчонки, как она. Совсем обыкновенные, не богатыри. Уж, наверно, есть и послабей ее.

Наконец-то впустили! Октябрина подходит к дежурной сестре:

— Скажите, пожалуйста, где мне сдать кровь?

— Вы в первый раз? А группу свою знаете?

— Нет еще.

— Тогда пройдите вон туда, налево.

Только бы не четвертая группа, только бы не четвертая. Это ведь самая плохая.

Но оказалась самая хорошая — первая. Повезло!

Теперь врачебный осмотр. Но она уже ничего не боится. Первая группа — самая нужная, неужели не возьмут!

Немолодой худощавый человек в белой докторской шапочке и халате, с остроносом, тронутым оспой лицом смерил ее критическим взглядом:

— Что-то вы излишне прозрачны, товарищ дорогой.

На что жалуетесь?

— Ни на что! — весело ответила Октябрина.

— Так-таки ни на что? А чем болели?

— Только малярией, давно уже.

— А как давно? Когда были последние приступы?

— Осенью.

И вдруг лицо у него стало скучное. Еще ничего не понимая, Октябрина почувствовала, что он потерял всякий к ней интерес.

— Можете быть свободны, — сказал он коротко.

Октябрина растерялась:

— Как же так? У меня первая группа!

— Не годится ваша кровь. Вы малярик.

— Да почему? Ведь приступов давно нет!

— Не так уж давно. Не настолько давно, чтобы это было безопасно. Перельем раненому вашу кровь, а у него организм ослаблен, восприимчив ко всякой инфекции. Вот и получится, что ваша кровь не поможет ему, а повредит. Да не расстраивайтесь так, — прибавил он мягче, еще раз взглянув на нее. — Доноров и без таких, как вы, хватает.

День померк. Она уже не замечала солнца, не радовалась славному морозному утру. Неужели же она ни на что не годна? Сколько народу сюда приходит, и у всех берут кровь. А у нее не взяли. Ну почему, почему она хуже всех?

— Смирнова! Где Смирнова? В комитет вызывают! Просто Смирнову? Не комсорга?

Когда она добежала до комитета, у нее так билось сердце, что пришлось постоять перед дверью, отдышаться. Посылают. Неужели посылают? Наконец-то!

— Тебя вызывают на завод, где твои девчата работают, — сказали ей в комитете. — В партком. Завтра к двенадцати. Да ты что огорчилась?

Ни следа румянца и оживления не осталось на лице Октябрины. Упавшим голосом она сказала:

— А я думала, на фронт.

— Опять на фронт! Сколько раз тебе говорили, а ты все свое.

«Зачем вызывают?» — снова и снова спрашивала себя Октябрина по дороге на завод. В комитете ей ничего не могли сказать на этот счет, и она тревожилась. Вдруг девчонки что-нибудь натворили. Нет, не может быть. Галка бы сказала.

В парткоме тесно, шумно, накурено. Народ самый разный. Сидят, стоят, переговариваются. Ждать, наверно, придется долго. Октябрина нерешительно остановилась у двери.

— Вам кого? — строгим хозяйским тоном спросил ее парнишка лет пятнадцати в замасленной спецовке.

— Парторга, наверно. Я из педагогического института. Меня телефонограммой вызвали.

— А, из педагогического! — парнишка сразу стал куда приветливей. — С нашей Галиной учись.

— С вашей? — удивилась Октябрина.

Но парнишка был уже у самого стола и наскоро объяснял что-то человеку в гимнастерке, с остриженной по-солдатски головой и седеющими усами.

Через минуту и Октябрина уже сидела у этого стола, и ей казалось, что с этим человеком она разговаривает не первый раз. Что-то знакомое было в выражении его лица, во взгляде, кого-то он напоминал ей. Эрнста Яновича? Может быть, даже отца?

— Я думаю, вам известно, что наша Галина Хар-

бинова... наша с вами Галина Харбинова, — поправился он, — подняла на ноги весь цех?

— Подняла на ноги? Нет, ничего не знаю, — призналась Октябрина.

— Не знаете? — переспросил парторг. — Жаль. Тогда объясню. Приспособила на своем станке простенькую штучку, а деталей сделала за смену почти втрое больше. И уже четвертый день так идет.

— Галя? Наша Галка? А какую штучку она приспособила?

— Вот это я уже объяснить не могу, — усмехнулся парторг. — Наши штучки и детальки, видите ли, имеют оборонное значение и огласке не подлежат. Тема заповедная. Тут другое важно. Молодежь в первый же день «молнию» выпустила. Теперь наши токари к своим станкам тоже эту самую штучку прилаживают. А кроме того, во всех цехах началось соревнование: кто внесет больше рационализаторских предложений. Большое дело подняли.

— И все с Галки началось?

— Вот именно. Потому я и просил вас зайти. Хотим ее премировать, да не знаем, в чем она больше нуждается. Как вы посоветуете?

В чем нуждается Галка? Ну, это Октябрина знала хорошо:

— Если можно, дров ей завезите. У них дома — как в погребе.

— Комната большая?

— Большая, метров двадцать пять.

— Значит, до тепла кубометра полтора нужно?

— Да, полтора хватит.

— Ладно, сегодня же забросим. А из одежды что надо?

— Ей, пожалуй, ничего, а вот у братишки валенки совсем худые.

— Большой братишка?

— В девятом классе.

— И это можно. Только придется обождать дня четыре.

Во время разговора их не раз прерывали: то звонил телефон, то приходили люди с какими-то неотлож-

ными вопросами. Наконец все решено. Октябрина встает, прощается.

— Заходите еще, — приглашает парторг. — Надо нам держать связь. И вот что... Вы на меня не обижайтесь, но комсоргу своих комсомольцев следует знать получше.

Октябрина вспыхнула. Да, с той минуты, как ей здесь сказали о Галке, она и сама все время думает об этом. Как же случилось, как могло случиться, что для нее Галкина победа — неожиданность? Правда, все как-то так складывалось: когда ездили в совхоз, оказались на разных участках, в институте, кроме лекций, почти и не видятся. Эх! Вот и проглядела в Галке что-то очень важное. И совестно, очень совестно, что ей теперь говорят об этом.

— Верно я говорю? — спросил парторг, глядя на ее огорченное лицо.

Она кивнула, чувствуя себя провинившейся школьницей.

* * *

По дороге из института Октябрина, как всегда, спросила:

— Ну, что у тебя на заводе?

И Галя, как всегда, ответила:

— Да ничего, все хорошо.

«Ничего? Ну, погоди же!»

— А говорят, на вашем заводе новое движение за рационализацию началось, верно?

— Началось.

— Что же ты молчишь, это ведь всем интересно.

А кто начал?

— Наш цех.

— Почему именно ваш?

— Как это почему наш? — растерялась Галя.

— Ну почему? Что он, самый передовой, что ли?

— Не то что самый... просто так вышло. У нас выдвинули первое рационализаторское предложение.

— Да что ты? Кто же это?

— Девушка одна, — не сразу, смущенно ответила Галя.

— Ну, знаешь! — вскипела Октябрина. — Совести у тебя нет!

И тут же расхохоталась: ну и лицо у Галки, до того ошарашенное, прямо даже глупое.

— Эх ты, Галка, великий рационализатор. Не стыдно тебе? Как же ты смела молчать?

Галя вдруг рассердилась:

— А что же мне было, хвалиться, что ли? И вообще откуда ты знаешь?

— Да уж знаю. А вот почему ты молчала, понять не могу. Товарищ, называется.

— Зря ты обижаешься, Инка. Во-первых, правда выходило бы, что я хвастаюсь. А потом завод ведь военный. Особенно не потреплешься.

— Нет, Галка, не в том дело. Я ведь не спрашиваю, какую ты там штуку к станку приспособила. Но как же так: ходишь ты, все мысли у тебя об одном. Такая радость у тебя. И хоть бы словечко! Разве я неправильно говорю?

Тут только Галя поняла, и ей и впрямь стало совестно. Разве они не друзья? Но как же тогда она могла не поделиться с Октябриной своими сомнениями, мечтами, надеждами! Как можно носить в себе радость и не поделиться ею с другом? А тревогу?

Галя остановилась. Взяла Октябрину за локоть, виновато поглядела ей в лицо.

— Но... понимаешь, я сама себе не верю. Это и правда, такая радость.. Вот слушается меня станок. Что хочу, то и делаю. И все понимаю.

— Слушай, Галка, — вдруг сказала Октябрина, — значит, правильно Илька про тебя говорил! Помнишь?

— Еще как! Это я с первого дня поняла, как попала в цех. Дура такая — чего меня понесло на лит-фак!

— А теперь как же?

— Да так. Год кончу, а там погляжу. Если удастся, в машиностроительный куда-нибудь поеду. А если нет, останусь на заводе, пока война. Рано ли, поздно ли, а все равно конструктором буду.

Постояли, помолчали, в раздумье глядя друг на друга.

— Странно все-таки, — медленно заговорила Октябрина. — Еще год назад у тебя этого и в мыслях не было. Меньше года.

— Глупые мы были, — так же задумчиво ответила Галя. — И себя плохо знали и жизнь мало понимали. Вот и выбирали случайно.

* * *

Апрель. Ошалело чирикают воробьи на черных голых ветках. Им звонко вторят первые ручьи и только с заходом солнца засыпают под тонкой ледяной коркой. На припеке из-под снега кое-где уже виднеются бурые проталины.

— Домой хочу, на Украину! — с тоской говорит Лена, стоя на крыльце госпиталя: только что они вышли оттуда после ночного дежурства. — Какая у нас весна! Сады цветут. И под моим окном скоро яблоня зацветет. А в моей комнате, за моим столом сидит какой-нибудь фриц и распивает чай. Просто подумать не могу. И когда это кончится!

Медленно они сходят с крыльца. И вдруг Лена поворачивается к Тане:

— Танюшка, а как Сима?

— Знаешь, Ленка, надоели вы мне. Она про тебя спрашивает, ты — про нее. Хватит вам в прятки играть! Приходи к нам сегодня, да и все.

— Думаешь, прийти?

— Конечно прийти, — хором, убежденно отвечают Таня с Октябриной. И Таня добавляет:

— А что, боишься — выгонит? Не бойся, не дам.

— Ленка, да ты пойми! — Октябрина даже останавливается на минуту. — Сколько раз уже мы об этом говорили. Неужели ты думаешь, что раз до нее дошло, значит, уже все в порядке? Разве это так просто? Ведь вот когда я прихожу, она делает вид, будто ничего не произошло. А что она думает, что у нее на душе — не знаю.

— А я знаю, — громко, уверенно говорит Таня. — Знаю! Она боится, что ее жалеть будут или поминать старое. Вот честное слово, я по себе знаю.

— Наверно, ты права. Понимаешь, Ленка, Симе стыдно. А переступить через стыд и остаться у нас,

в своем коллективе, она не смогла. И ты просто не имеешь права бросить ее. Ведь думаешь же ты о ней. Вот и пускай она об этом знает. Непременно. Поверь мне, Ленка. И зайди к ней.

— Конечно, зайди, — поддерживает Таня. — Сима ведь про тебя спрашивает. А все-таки, что ни говори, тебе зайти легче, чем ей.

Лицо у Лены виноватое, тревожное. Нехорошо все вышло. Конечно, если бы после той комсомольской группы Сима не бросила институт, все было бы по-другому. А так... Надо, конечно, надо увидеть Симу, поговорить с ней. Трудно. А все-таки первый шаг мне легче сделать, Таня права. Не ответит? Выгонит? Ничего, Танюшка вступится.

И она говорит:

— Сегодня после занятий я с тобой пойду.

Сима сегодня вернулась домой первая. У нее уже и стол накрыт и чайник вскипел. Увидев, с кем вернулась Таня, она бледнеет, сдвигает брови. Но на короткое: «Здравствуй, Сима», — отвечает так же коротко, буднично, точно они только вчера виделись:

— Здравствуй.

И ставит на стол еще одну чашку.

Так все и идет. Очень обыкновенно. Танька оживленно рассказывает о сегодняшнем семинаре по Фадееву, об очередной стычке с Игнатием Федоровичем. Потом спрашивает, как всегда:

— А у тебя сегодня что?

— Да ничего особенного, — скупно, тоже как всегда, отвечает Сима.

Но Татьяне этого недостаточно. Она допытывается, помог ли хоть немного массаж руке Саши Петриченко, привыкает ли уже к костылям Мухитдинов, когда выпишут Володю... И в конце концов ей все-таки удается разговорить Симу. И Лену тоже. Потому что ведь и Лена очень часто дежурит в госпитале и ей тоже есть что рассказать.

Сима с Леной почти не разговаривают, только исподтишка присматриваются друг к другу, а встретясь

взглядами, спешат отвести глаза. А потом уже и не так спешат.

Уходя, уже в дверях, Лена говорит:

— Я еще как-нибудь загляну?

На это полагалось бы ответить Тане — хозяйка-то она. Но она, всегда такая быстрая на язык, что-то медлит с ответом. Чего-то она ждет, эта хитрая Танька. Ладно!

И Сима говорит как ни в чем не бывало:

— Заходи, конечно.

...А назавтра в институте, выслушав сияющую Танюшку, Октябрина смотрит на успокоенное лицо Лены и снова, в который раз, задумывается о ней и о Симае.

Вот и осталось позади самое трудное. Много, конечно, порвалось между ними и, должно быть, не скоро вновь срастется. Но как не срастись, когда столькими живыми нитями соединены были два человека, когда так многое роднило их — и общая боль, и общая судьба, и общее далеко отошедшее счастье. А может быть, и впереди они еще увидят немало хорошего вместе...

Не всегда разлука — это когда между людьми километры. Можно жить бок о бок и быть далеко друг от друга. А бывает иначе: между людьми километры, годы — и все равно они вместе. Слишком многое роднит их. Разве они могут не встретиться?

Друг мой, хороший мой, я верю — мы еще встретимся!



V. ВОИН

Не успела Октябрина войти в аудиторию, как со всех сторон закричали:

- Тебя в райком вызывают!
- В райком комсомола!
- Немедленно!

«Одну меня? Почему так спешно? А вдруг...» И она почти побежала в райком.

Сколько раз уже вспыхивала и обманывала эта надежда, уже боязно было ей поверить. Но в райкоме сказали точно и коротко — на фронт! Сейчас же на медицинскую комиссию и в военкомат, а завтра уезжать.

Вот и сбылось то, о чем мечтала, чего ждала, к чему стремилась все эти долгие, трудные месяцы.

И все же это пришло неожиданно и немного ошеломило ее. Как сказать маме? Мама... У меня такая радость, а она ведь будет горевать.

Льет холодный, совсем не весенний дождь. Тяжелые тучи ползут над самыми крышами, огромные лужи

то и дело преграждают дорогу. Но нет, не замечает Октябрина ни промозглого холода, ни луж, ни грязи. Легко, празднично на душе.

В поликлинике темно: электростанция выключила свет. В длинном коридоре приглушенный гул голосов, но не слышно ни одного знакомого. И Октябрину охватывает лихорадка нетерпения. Так нужно поделиться с кем-нибудь, порадоваться вместе, признаться, как это страшно: а что если медкомиссия не пропустит? «Сбегаю к папе, — решает она, — успею».

Но в эту минуту зажегся свет. Октябрина увидела в уголке девушек из своего института — второкурсниц Олю Костыреву, Нину Петровскую, Веру Чукаеву и Наташу Соболеву — и подошла к ним.

К великой радости Октябрины, медосмотр оказался коротким. Из всей комиссии придиричиво внимателен был только глазник. Остальные спросили:

— На что жалуетесь?

— Я не жаловаться пришла, — сердито отвечала Октябрина.

И во всех графах появилось одно и то же: «годна», «годна», «годна».

Впятером они зашагали в военкомат. Было уже за полночь. Им дали увольнительные до 10 утра 29.4.42 «для устройства домашних дел».

На углу они распрощались. И только тут Октябрине стало по-настоящему страшно: как же все-таки сказать маме? Как успокоить ее, убедить?

Октябрине понадобилось все ее мужество, чтобы открыть дверь. Хоть бы отец был дома. Он-то поймет, поддержит. Но нет, на вешалке ни фуражки, ни шинели.

Едва переступив порог, Октябрина встретила неподвижный, полный тревоги и упрека взгляд матери.

Неужели уже знает? Откуда? Ну что ж, так легче. Только страшно, что мать ничего не говорит и, кажется, даже не слышит. Смотрит в одну точку и молчит. А глаза огромные, расширенные. Лучше бы уж ругала. Все что угодно лучше, чем это молчание.

Октябрина подсела к матери, обняла.

— Мамочка, родная моя, хорошая, не могла я иначе. Ты ведь знаешь. Мамочка, ну не плачь. Не надо. Со мной ничего не случится. Я вернусь, вот увидишь. Ведь я не могу не идти...

Зинаида Николаевна молчала, а слезы лились и лились по ее побледневшим щекам.

Что скажешь матери в такую минуту? Чем утешить? Как заглушить ее страх, боль, отчаяние?

— Да зачем же ты мучилась, белила да убирала квартиру, для кого это все?! — вдруг горько сказала Зинаида Николаевна. — И как я успею собрать тебя? Ведь уже ночь на дворе.

Времени и вправду оставалось в обрез.

И, пересилив себя, мать сказала почти уже спокойно:

— Иди спи, дочура. Я соберу все, что надо.

Октябрина легла и сразу уснула. А Зинаида Николаевна долго еще сидела, собиралась с силами. Не хотела она верить разлуке, а сердце сжималось от боли. Да, это правда: ее Октябринка, маленькая, слабая, совсем еще девочка, завтра уйдет на фронт.

Наконец она поднялась, и привычные ко всякой заботе материнские руки будто сами собою стали укладывать все нужное. А мысли были далеко. Вспоминалось прошлое: бессонные ночи у постели больной девочки, ее детские огорчения, тревоги... совхоз...

Вспоминалось далекое-далекое время. А давно ли это было?

...Нагрязнула ранняя весна. В совхозе субботник: люди вышли на ремонт машин. Среди дня забежал домой Николай Васильевич. Наскоро проглотил суп и взялся за шапку.

— погоди, отец, а кашу-то! — остановила его Зинаида Николаевна. — Да ты что какой расстроенный? Не успеваете?

— Да понимаешь, такая досада, из-за ерунды дело срывается. Обтирочного материала не хватает. Тряпье, ветошь — а без нее вся работа насмарку: проржавеют части...

Он вышел, так и не притронувшись к каше. За ним,

слова не сказав, накинула пальто и выбежала из дому Октябрина.

...Далеко вокруг мастерской разносился в весеннем воздухе стук молотков, скрежет и лязг железа. Время не ждало, каждый был по горло занят своим делом, и никто не заметил, как по черной, раскисшей дороге подошла к мастерской странная процессия.

— Так, брат, и делай, — сказал Николай Васильевич, вылезая из-под старого, немало повидавшего на своем веку «фордзона»; вдвоем с механиком они все-таки сообразили, как снова пустить в ход и эту развалину.

Обернулся — и даже отступил на шаг: перед ним красная, растрепанная, запыхавшаяся стояла Октябрина, держа обеими руками грудю какого-то разноцветного тряпья. За нею толпилось еще десятка полтора таких же разгоряченных, усталых мальчишек и девчонок, и у каждого — пестрая охапка лоскутов и невесть какой рвани.

— Вот, папка... держи! — выговорила Октябрина, протягивая отцу свою ношу. — Мы все дома обегали... А если мало, еще пойдем.

— Ну, молодцы! — обрадовался Николай Васильевич. — Выручили. Только разве мне все это удержать? Сваливайте вон сюда, на фанеру.

На фанере выросла мягкая пестрая гора.

— Пожалуй, что и хватит, — сказал Николай Васильевич. — Спасибо вам, ребята! А теперь идите, мы уж и сами управимся.

Ребята повернулись и, гордые похвалой, зашагали восвояси. И над грохотом, звоном и лязгом железа, над торопливым перестуком молотков взлетела любимая боевая песня:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед..

...А вечером заглянула Зинаида Николаевна к дочке. Октябрина с ногами забралась на стул и, подперев щеки ладонями, читала.

— Ты что это не переделась, дочура? Завтра в школу мятая пойдешь.

Октябрина вскинула голову.

— Ох, мамочка, я совсем забыла: я серое платье с тряпками отдала. Ты сама говорила, что я из него выросла.

— Как так отдала? А в чем ходить будешь?

— Ну, в чем-нибудь.

— Вот так раз! Если все, как ты, хватали, что под руку попадет, матери вам спасибо не скажут.

— А папка сказал: молодцы, выручили! Вот!

И так она гордо это сказала, что духу не хватило бранить ее. Можно бы, конечно, сказать, что всякое дело надо делать подумавши и с матерью не грех посоветоваться... Да ведь Октябринка в отца: он на работе себя не жалеет, так разве дочка подумает, которое платье на тряпки рвать, когда тракторы ржавеют! И смех и горе с ней...

Грустно улыбается Зинаида Николаевна. Еще и еще вспоминается маленькая Октябринка. Смешная, упрямая. Давно ли это было?

...Да, смешная была, упрямая. А может, и не упрямая, а в отца — упорная? И вспоминаются Зинаиде Николаевне те два года, что прожили они с Октябринкой без отца на Брянщине, и последнее лето у сестер...

В золотой августовский день Зинаида Николаевна со старшими девочками с рассветом отправились в дальний лес по грибы. Набрали полные корзинки и, выйдя на опушку, присели отдохнуть. Надо было еще пересечь небольшое колхозное поле, неудобным клином врезавшееся по кособору между лесом и селом. По полю, мерно сгибаясь, ходили несколько жниц с серпами.

— Вы посидите, а я пока васильков нарву, — сказала Октябрина.

Ушла — и пропала.

— Куда она девалась? — не выдержала, наконец, Надя. — Сбегаю погляжу.

В несжатой ржи сошлись кружком молодые девчата, что-то обсуждая или разглядывая. Подойдя ближе, Надя увидела среди них Октябрину. Она стояла, подняв левую руку, один палец был совсем красный, и по ладони текла кровь.

— Иночка, что с тобой? — кинулась к ней Надя.

— Видишь, хотела жать научиться да чуть палец не отхватила, — объяснила одна из девушек.

— Жать, милая, сноровка нужна, — вмешалась женщина постарше и стала бережно перевязывать порезанный палец чистым лоскутком.

Октябрина потрянула головой:

— А откуда же будет сноровка, если не учиться? Вот я и хочу начать, — сказала она и упрямо сжала губы. — Я завтра опять к вам приду.

— Смотри ты, характерная какая! Что ж, приходи.

— Приду. До свиданья.

Всей семьей отговаривали ее, толковали ей, что и не к чему учиться серпом жать — вот он, рядом ходит комбайн. Нет, пошла Октябринка! Пошла и на другой день и на третий — до тех пор ходила, пока не были сжаты все неудобные клинышки и клочки, которые колхозницам приходилось убирать серпами.

А как она торжествовала! «Слабая? Ничего подобного, мамочка, совсем я не слабая! Не подвело здоровье. Значит, и летать буду!»

...Что говорить, трудные были те годы — врозь с отцом. Сколько было тревоги и за него: как-то он там один, и за Октябринку: поправится ли, окрепнет ли... А вот теперь вспоминается одно хорошее. Росла девочка, становилась большая, и все крепче срастались они душевно. А какое это было счастье, когда вернулись к отцу в Чкалов и снова зажили все вместе.

Как хорошо, дружно жили они втроем! И вот опять разлука...

Тихо, чтобы не разбудить, мать подошла к постели. Октябрина безмятежно спала под своим детским голубым одеялом, светлые волосы разметались по подушке. Маленькая, беззащитная. «Ну, куда ее на такую страшную войну?» — и снова наполнились слезами глаза матери.

Она отошла к столику, за которым всегда занималась Октябрина, тяжело опустилась на стул. Вот лежит увольнительная. К десяти часам... А рядом — еще лист бумаги. Зинаида Николаевна узнала: акт — наказ

новой гражданке Октябрине... Машинально перечитала знакомые строки. Давно она не видела, не перечитывала их. И вдруг заметила короткую приписку:

«Настало время мне встать в ряды борцов». И дата — ноябрь 1938 года. «Видно, это она когда в комсомол вступала, — подумала Зинаида Николаевна. — Да... Как же ей сейчас не пойти...»

Так и прошла для нее эта ночь — в воспоминаниях, слезах, думах о будущем. Что-то оно сулит? А руки сами делали свое дело — собирали Октябрину в далекий путь.

Николай Васильевич пришел домой под утро совсем больной. Он даже не смог пойти с Октябриной на вокзал. Только застегнул ремешки на ее зеленом вещевом мешке, потом крепко поцеловал дочь и проводил ее долгим взглядом.

Тревожно и необычно выглядел в этот день Чкаловский вокзал. Длинный состав вытянулся вдоль платформы, и во всех вагонах — девушки. Одни веселые, разговаривают громко, смеются. Другие строгие, подтянутые, не по годам серьезные. Есть и озабоченные, задумчивые лица, словно на них отбросила тень та печаль, которую неумело стараются скрыть матери, провожающие сегодня своих дочерей.

Чуть не весь курс пришел провожать Октябрину.

— Ну, куда ты едешь? Да ты там только всем обузой будешь! — не унималась Галя.

— Хватит тебе, Галка! Раз не может человек больше терпеть, так и отговаривать нечего. Что уж теперь говорить! — перебивает ее Таня, а сама то и дело отворачивается и сердито, рывком утирает глаза.

— Танюшка, да ты что? — удивляется Октябрина. — И не совестно тебе? Перестань сейчас же!

Она тормозит Таню за плечо, треплет сбившуюся, унылую челку.

— Смотри, маму мою не бросай! Девочки, Галя, Лена, навещайте мою маму! — повторяет она, снова и снова с тревожной нежностью взглядывая на Зинаиду Николаевну.

Сеется мелкий, холодный дождь. Он зарядил с самого утра, все вокруг затянуто серой пеленой. Но, конечно, никто из провожающих не уходит. Где-то поют, кто-то громко смеется, кто-то бежит за кипятком.

«Неужели еду? — вдруг, словно впервые, понимает Октябрина. — Еду! Наконец-то!»

И лицо у нее такое счастливое, что и Зинаида Николаевна улыбается сквозь слезы: «Едешь! Что ж, поезжай! Разве тебя удержишь?»

Вздыхнув во всю могучую грудь, паровоз берет с места. Медленно, плавно, потом все быстрее, быстрее. В последний раз мелькнули и остались позади милые лица, несутся мимо дома, водокачка, телеграфные столбы... знакомые окраины Чкалова... Вот и они позади. Девушки столпились у открытых дверей теплушек и долго, молча смотрели туда, где остался родной город, родные люди. Загремел под колесами мост — и показался на прощанье широкий, полноводный Урал. И тут на один короткий миг, прорвав облака, выглянуло солнце, осветило крутой берег и город на берегу, и над Домом Советов прощально махнул им вслед алый флаг.

* * *

Тринадцать дней шел на запад этот девичий эшелон — девушки ехали в Сталинградскую область в части воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Поезд идет все медленнее. Вот уже и платформа.

Как странно, непривычно: подъезжаешь — и никто не бежит рядом с вагоном, улыбаясь, нетерпеливо заглядывая в двери и окна, не машет руками, никто не встречает. Тихо. Пусто.

Вышли из вагонов, построились и быстро пошли.

— Слушай, Натуська, неужели здесь останемся? Ведь отсюда до фронта... — с тревогой спрашивает Октябрина.

— Не знаю, — нерешительно отвечает Наташа Соболева. — Может, просто отдых.

— Отдых? Зачем же нас тогда в армию брали?

Колонну нагнала машина с вещами. Остановились, разобрали свои мешки. И снова шагают по грязной, вязкой дороге.

Октябрина беспокойно посматривает на Наташу. Последние два дня Наташа что-то расклеилась, плохо спала, почти ничего не ела. И сейчас она бледная, идет с трудом.

— Натуська, давай твой мешок, я понесу.

— Куда тебе с двумя...

— Да ведь ты не дойдешь.

Наташа и сама понимает, что не дойдет. Но не Октябрине же отдать мешок, ей и свой-то тяжело нести. Вот если б Вера помогла...

— Вера, — негромко зовет она. — Понеси немного мой мешок, ладно?

Вера идет широким, ровным шагом, подняв голову, расправив плечи. Точно не по размытой дождями дороге, а по утрамбованному полю стадиона, где в прошлом году она так успешно выступала в институтской команде легкоатлетов. Не смотрит по сторонам, не оборачивается. Должно быть, она не слышала, как звала ее Наташа.

— Вера! — повторяет Наташа погромче.

Девушки, идущие в одной шеренге с Верой, оглядываются.

— Чукаева, тебя Соболева зовет.

— Наташа? А я задумалась, не слыхала.

Октябрина невольно настораживается. Что-то странное в ответе Веры. Какая-то фальшивая нотка. А может быть, показалось?

— Вера, — в третий раз окликает Наташа, — ты не возьмешь пока мой мешок?

— Мешок?.. — словно не понимая, переспрашивает Вера. — А ты что, без носильщиков не умеешь?

— Вера!

Это слышат уже все. Это кричит Октябрина.

— Да как же ты можешь! Ты же знаешь, что Наташа совсем больна. А если бы... — она обрывает себя на полуслове, в упор смотрит на Веру. — Ты... ты в первом же бою подведешь. — И поворачивается к Наташе: — Давай.

— Нет, лучше я возьму. Я покрепче тебя, — говорит Женя Красильникова.

Октябрина смотрит на нее — невысокую, плотную, крепко сбитую — и молча передает ей Наташин мешок.

Они идут рядом — Наташа посередине, Женя и Октябрина по бокам. Идут молча. Каждая думает о своем. А может, все три об одном и том же... Наверно, об одном.

«Вот и первая проверка, — думает Октябрина. — Первая потеря. Первая находка. А ведь Наташа с Верой два года вместе проучились. Ну и что с того? Вот Лена с Симой сколько лет вместе. Как дружили, сколько вместе перенесли! А потом... Хоть и помирились, а как-то еще у них там?»

* * *

Рота строилась.

— Шагом... арш! — раздалась команда. И немного погода — вторая: — Запе-вай!

Во тьму небес свой замысел запрятав
И смерть неся над мирною страной,
Крадутся к нам крылатые пираты,
Чтобы нарушить Родины покой... —

низким, сильным голосом затянула Женя Красильникова на любимый всеми мотив: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» — эту старую песню постоянно пели в учебном прожекторном полку. И даже сложили к ней свой новый припев. Но сегодня все слова новые, незнакомые. Женя как-то особенно четко выговаривает их и с торжеством посматривает по сторонам. Что же это за слова у нее? Откуда? Но гадать некогда, вот уже и припев. И десятки девичьих голосов дружно подхватывают:

Все выше, и выше, и выше
Прожектор бросает лучи,
Мотор карбюратором дышит,
Динамо питает угли!

А на лицах нетерпение — что дальше? И снова громко, торжественно запекает Женя:

Бросая луч, врага мы в небе ищем,
Чтоб не нашел он в воздухе дорог,
Громи врага, товарищ наш зенитчик,
Разбей врага, отважный «ястребок»!

И снова припев. Поют прожектористки, а сами нетерпеливо переглядываются. Хорошая песня! Про нас! Но откуда же она? И опять начинает запевала:

В разрывах бомб и грохоте снарядов
Мы твердо верим: скоро из-за туч
Придет в огне последней канонады
Победы нашей долгожданный луч!

— Откуда у тебя слова? — окликает Женю Наташа, забыв, что она в строю.

И вместо того, чтобы осадить бойца Соболеву, молодцеватый лейтенант, идущий во главе этой девичьей роты, подает команду:

— Вольно!

Признаться, ему и самому любопытно, откуда взялась такая песня.

— Откуда песня, Красильникова? Где взяла слова? — спрашивают со всех сторон.

— Вчера в полку слыхала, — невозмутимо отвечает Женя.

— Я тоже была в полку, — возражает Оля Костырева, — а что-то ничего такого не слыхала.

— Да что за секреты? Говори уж! — требуют девушки.

Женя усмехается, смотрит на свою соседку по шеренге:

— В общем признавайся, Ина!

Октябрина молча улыбается. И вдруг встречает удивленный и обиженный взгляд Наташи Соболевой.

— Ты? — только и спрашивает Наташа.

Октябрина смущенно кивает. Наташа хмурится, отворачивается. Теперь она снова идет вскинув голову, глядя прямо перед собой, точно и не давал лейтенант команды «вольно».

Весь день они стараются не смотреть друг на друга. Вечером, в свободный час перед сном, Октябрина не выдерживает:

— Натусь... а, Натусь... Ну, чего ты?

Наташа отворачивается:

— Даже говорить с тобой не хочу.

— Ну, брось, Натуська, — виновато говорит Октябрина. — Я ведь боялась, что не получится. Что не понравится девчатам.

— Боялась... Разве мы с тобой не друзья? Ты ходишь, думаешь о чем-то, а я ничего не знаю — это, по-твоему, правильно?

— Неправильно! — с готовностью признается Октябрина, а в глазах у нее улыбка. Давно ли она чуть ли не теми же словами объясняла это Галке? — Неправильно, — повторяет она. — Больше не буду!

— То-то же! — строго говорит Наташа.

И обе смеются.

* * *

Идут занятия. Под жгучим степным солнцем, все в поту и в пыли девушки роют окопы.

— Веселей, веселей, девчата, — говорит сержант Тихонов. — Вы что сегодня лениво работаете, Чукаева?

Вера взглядывает на него исподлобья.

— Почему лениво, товарищ сержант? Что ж, я меньше других сделала?

— Зачем меньше? А только не в пример вчерашнему. Или вам лопата тяжела стала?

Вера отводит глаза и с ожесточением всаживает лопату в прокаленную солнцем рыжую землю.

— Мало ли что вчера, — ворчит она. — То вчера, а то сегодня. Что мне, больше всех надо?

Женя и Наташа работают неподалеку. Они не слышат ее, но понимающе переглядываются. Вчера каждый для себя отрывал окопчик, и Вера работала лучше всех. Она оказалась в числе тех десяти, кому объявили благодарность перед строем. А вот сегодня на общем окопе — сразу видно — работает вполсилы.

— Конечно, — говорит Женя Наташе. — Это ж не для себя, зачем ей стараться.

— Да нет, она же слабенькая! Верно сержант сказал: ей лопата тяжела, — отвечает Наташа, с трудом переводя дух.

И снова девушки молчат. Давно уже все перестали шутить, перекликаться: слишком давит жара, слишком тяжела работа. Должно быть, уже скоро сержант объявит «перекур».

И вдруг откуда-то издалека еще слабое, но такое знакомое гуденье. Октябрина подняла голову, прислушалась. Да, летит. Но как-то странно...

Теперь уже все выпрямились, все смотрят в ту сторону, откуда приближается звук. Не сразу различишь в таком жарком, слепящем небе серебряную черточку. Ближе, ближе... как странно, какой неровный, захлебывающийся звук.

Ближе, ближе. Совсем невысоко. Вот уже скоро сядет. И вдруг вместо плавной посадки самолет камнем падает невдалеке, за лощинкой.

Взмахнув рукой, сержант Тихонов первым бросается к тому месту, где упал «ястребок». Девушки — за ним.

А там уже поднялся черный столб густого, злого дыма. Горит бензин. Горит «ястребок». И может быть, еще живой летчик горит.

Задыхаясь, падая, девушки подбегают к страшному костру. Как подступишься? К счастью, сгоряча не все побросали лопаты

И вот они землей забрасывают огонь. И, наконец, из-под огня и дыма сержант на руках выносит почерневшее, неподвижное тело. Летчика при падении выбросило из машины...

Сняв пилотки, они долго молча стоят вокруг. Кто он был? Ни документов, ничего уже не найдешь. Только позже, позвонив в полк, сержант Тихонов узнает, что за много километров отсюда молодой летчик принял в небе неравный бой. «Юнкерсы» среди бела дня шли бомбить советский тыл. Он подбил один «юнкерс». В упор расстрелял один из сопровождавших бомбардировщики «мессершмиттов». Второй «мессер» смертельно ранил его «ястребок», нарушил управление. Казалось, еще немного — и он все-таки спасет свою израненную машину. Он не захотел расстаться с нею, не захотел выброситься с парашютом. И вот погиб.

Только позже они узнают все это. А пока молча, опустив головы, они стоят вокруг погибшего товарища. Потом все теми же лопатами копают в степи могилу.

* * *

Прошло несколько дней. Прожектористки возвращались с занятий.

— А все-таки напрасно ты огорчаешься, — говорила Октябрине Женя. — Вот кончим учиться, попадем в боевые расчеты, будет и от нас толк.

— Толк-то будет, а врага уничтожать будут другие. Нет, что ни говори, а специальность у нас... Ну, что это, правда: сиди в укрытии и бросай луч.

— Неправильно рассуждаете, Смирнова, — вмешался в их разговор сержант Тихонов, — и рапорты о переводе в зенитный полк зря подаете.

Сержант с первых дней присматривался к этой хрупкой, светловолосой девушке. Хорошая девушка. На теоретических занятиях всегда отвечает толково, серьезно, а так, в жизни, веселая, не унывает. И песню какую хорошую сочинила. Правда, первое время, глядя, с каким трудом она отрывает окопчик, как задыхается, когда надо хоть немного пробежать или проползти, он не раз думал: «Не выдержит. И куда такую прислали. Девочка совсем, какой из нее боец». Но шли дни, и он понемногу успокоился: «Выдержит. Упрямая. Так поглядеть — в чем душа держится, а поглубже разобраться — твердая душа». Но он по-прежнему жалел ее за то, что ей труднее, чем другим.

А вот сейчас слова Октябрины задела его.

— Зря обижаетесь на нашу специальность, Смирнова, — заговорил он громко и горячо, так что все остальные прислушались. — Сами же такую песню хорошую про нас сочинили, а сами плохо отзываетесь. Неправильно. Специальность очень подходящая. Без нас ночью ни один воздушный бой не обходится.

— Да нет, дело наше хорошее, — поспешно сказала Октябрина, услышав обиду в голосе Тихонова. — Только летчиком все равно лучше. Чтоб самой бить врага. А вы разве не хотели бы летчиком?

— Мало ли чего кому захочется, — строго ответил сержант. — А не хотите прожектористом — можно вас в штаб перевести. В штабе телефонистки требуются.

Октябрина посмотрела на него удивленно и сердито.

— Что вы, товарищ сержант! Ни за что не пойду!

— А чем плохо телефонисткой? Я бы с удовольствием, — неожиданно сказала Вера Чукаева.

— Еще бы! — отозвалась Наташа.

Так она это сказала, что у всякого на Верином месте пропала бы охота продолжать. У всякого, но не у Веры.

— Товарищ сержант, а вы откомандируйте меня в штаб, — попросила она как ни в чем не бывало.

— Что ж, Чукаева, раз наше дело вам не по душе, поговорю. Да только в штабе требовали отличников боевой и политической подготовки. А с вами на инженерных занятиях одни неприятности. Вот Красильникова им подходит, Смирнова, Соболева.

— Не пойдем, не хотим! — откликнулись все три, перебивая друг друга. — Что же это — мы готовимся на позицию, а нас в штаб?

— Так я и думал, — сказал Тихонов. — Так и лейтенанту ответил: навряд ли, говорю, захотят мои девушки.

...Вечером, перед сном, Октябрина с Наташей бродили за околицей и разговаривали.

— Знаешь, о чем я думаю, — медленно говорит Октябрина. — Вера нас все сторонится, и мы ее тоже. Нехорошо выходит. Все-таки мы в одной роте. А она всем как чужая. Может, поэтому у нее и с занятиями нелады. Знаешь, когда одна, ни к чему душа не лежит.

— Да и мне беспокойно. Ведь два года вместе проучились, как-то отвечаем друг за друга. А за нее прямо совестно.

— Поговорить бы с ней.

Наташа, хмурясь, грызет травинку.

— Попробовать надо, — неуверенно отвечает она. — Но знаешь, я как-то и не понимаю, с какой стороны к ней подойти. В институте она совсем другая

была. Такая, знаешь, правильная. Все понимала, на всех собраниях выступала. И на фронт сама пошла, никто ее не тянул. Просто не знаю, что с ней такое.

— Да... — протянула Октябрина. — И я пока ключа к ней не подберу.

— Подождем еще, — невесело сказала Наташа. — Посмотрим.

* * *

Душно!

Октябрина вопросительно смотрит на прозрачную воду быстрой речки.

Какое чудо, какое счастье — вода! Прохладная, свежая.. И вдруг — далекое-далекое воспоминание: она с сестрами идет по ручью... родник... водяное окошко, сквозь которое, казалось, можно заглянуть в самое сердце земли. Как давно это было! Вот бы глянуть сейчас на тот родничок. Может, в него глядится Толя? Может, он партизанит сейчас в тех лесах?..

Жарко, душно. И течет, зовет прозрачная, светлая речка. Соблазн велик! Хоть бы окунуться разок...

— Пожалуй, окунись сегодня, — нерешительно говорит Октябрина.

— А не боишься? — спрашивает Женя. — У тебя же малярия.

— Да ведь почти год приступов не было. Я думаю, больше не вернется.

— Все-таки осторожность не мешает.

— Тебе хорошо говорить. Попробовала бы, как я: все купаются, а ты стой и смотри.

— А вот и попробую. Возьму и не буду купаться.

И Женя усаживается на берегу, обхватив руками коленки.

— Да что ты? Из-за меня? Нет, Женька, я все равно окунусь.

Ох, какое наслаждение влезть, наконец, в светлую прохладную воду, смыть всю усталость, всю пыль, которая за долгие часы работы одевает тебя с головы до пят!

А через день — приступ.

Что же это за проклятие, неужели она так никогда

и не отвяжется, малярия! Ведь казалось, совсем уже о ней забыто — и вот опять! Неужели так и не жить по-человечески, так до скончания века всего остерегаться? До чего постыла эта осторожность...

И вот лежи в пустой комнате, без сил, без движения, потому что едва только двинешься — и на части разламывается голова... А все ушли на занятия. Дорог каждый день, каждый час, а ты лежи...

— Зря вы, Смирнова, отказываетесь ехать в санчасть. Там и уход, и питание, а то что ж весь день одной лежать, и воды подать некому.

Октябрина отчаянно мотает головой. Не поедет она. Пусть товарищ сержант и не уговаривает.

На другой день жара нет. Октябрина поднимается вместе со всеми и идет на занятия. Губы ее плотно сжаты, меж бровей залегла упрямая складка, и в глазах такая ожесточенная решимость, что ни подруги, ни сержант даже не пытаются отослать ее отсюда.

— Можете строевой не заниматься, пока не выздоровеете, — говорит ей Тихонов. — А во время тактической не ползайте, передохните.

Октябрина смотрит на него неодобрительно и, покачив головой, идет выполнять все, что выполняют остальные.

Не хочу быть слабосильной, не хочу быть обузой. Не хочу.

* * *

Октябрина шла за почтой. Навстречу — Тихонов.

— Ну как, Смирнова, не надоело вам рапорты подавать? — спрашивает, и глаза у него смеются. — Все еще надежду имеете стать зенитчицей?

— Имею, товарищ сержант.

— Ну что ж, раз такое дело, придется уважить вашу просьбу.

— Нет, вы это серьезно, товарищ сержант? — Октябрина боится поверить своему счастью. — Честное слово?

— Честное слово, — засмеялся Тихонов. — Есть приказ отобрать желающих девушек и срочно готовить из них прибористок. Понятно?

— Понятно, товарищ сержант! — крикнула Октябрина. И, даже не отдав честь, кинулась назад к подругам поделиться радостью.

Желающих учиться на прибористок нашлось много. И среди них — Вера Чукаева.

— Хочешь верь, хочешь нет, а я сама слышала, как она разговаривала с Тихоновым, — в этот же вечер сказала Октябрине Наташа. — Вот уж не думала, что она захочет туда же, куда и мы.

— Не пойму я ее, Натуська. Как будто в ней два человека сидят и никак один другого не переспорит.

— Ну, я не знаю, кто там кого переспорит, а только не дай бог попасть с ней в один расчет или на одну батарею.

— А по-моему, давай проситься на одну батарею с ней.

— Да что ты, Инка? Зачем?

Октябрина ответила не сразу:

— Знаешь, мне даже любопытно. Хочу поглядеть на нее в бою. Тогда все ясно станет. Да и бросать ее на кого-то тоже не дело. Помнишь, ты сама говорила: мы отвечаем друг за друга.

— Ну, знаешь, нелегко нам будет опекать такое дитяtko.

— И пускай нелегко. Не крест же на ней ставить. Все-таки добровольно пошла на фронт. Есть же у нее что-то за душой.

Наташа не отозвалась: или заснула, или не хотелось ей продолжать этот разговор. А Октябрина долго еще лежала без сна — думала о Вере, вспоминала Танюшку, Симу. И больше всего сейчас ей хотелось сказаться рядом с отцом. Что бы он сказал? А может быть, и лучше, что его нет здесь, может быть, пора уже самой разбираться в людях...

* * *

В один из первых июльских дней, когда девушки, усталые, измученные нестерпимым пыльным зноем, вернулись с занятий, Октябрина нашла у себя на подушке сложенное треугольником письмо.

От Галки! Она нетерпеливо развернула листок,

прочла первые строки — и рука с письмом опустилась, точно в ней была непосильная тяжесть.

Погиб Илька Ришман.

Погиб. Не вернется. Ничего больше не увидит, не узнает.

Не увидит победу. Не вернется домой. Не поедет учиться. Не будет строить города.

Не дождется ничего, о чем так мечтал.

В ту ночь Октябрина писала в своей записной книжке:

Дрогнул листок бумаги в руках,
Холод на сердце, как зимние вьюги.
Горечь разлита в неровных строках.
Это письмо от подруги.

Коротко пишет: погиб Илья —
Наш одноклассник, веселый парень.
Странно: стою и не верю я!
Мысли смешались, как будто в угаре.

Илька и смерть... Даже чудно
Эти два слова поставить рядом.
Не знаю: где он убит? Давно?
Пулей бандита, иль вражьим снарядом?

Я знаю — не струсил наш Илька в бою.
Бесстрашен, кто в жизнь влюбился.
Но кто мне расскажет: в каком краю
Товарищ на землю свалился?

Война есть война. Безжалостна смерть.
Слез нет и унынья тоже.
Смелее бороться, дерзать и сметь,
Суровее стать и строже!

Песню победы грозно споем
Мы над погибшим товарищем.
Грусть о нем выжги в сердце своем
Вражьего стана пожарищем.

Теперь уже совсем стало невозможно добиться, чтобы она хоть как-то поберегла себя. Слишком остра была боль этой утраты. Она сливалась в одно с большими, нестерпимыми утратами, которые несла в те дни страна. Все тяжелей становились сводки. Пал героический Севастополь. Враг рвался к Кавказу, шли бои за Ростов. Длилась осада Воронежа. В эти тяжелые дни зенитчицы, закончив ученье, вышли на позиции.

Нет, это еще не фронт, о котором так мечтала Октябрина: они должны оборонять тыловые объекты. Но все-таки это уже не ученье, а настоящее дело.

Они расположились далеко от Сталинграда, в степи, такой еще тихой, что минутами даже не верилось: неужели война? Но в первый же день командир батареи лейтенант Атарин приказал окапываться, рыть глубокие котлованы для орудий, оплетать портики, чтоб не осыпалась земля.

— И кому это нужно? — ворчала Вера. — О немцах ни слуху ни духу, а мы, как кроты, в землю зарываемся.

— От него не зароешься, — вставил немолодой артиллерист Коротеев и с усмешкой подмигнул Вере. — Прямое попадание — и будь здоров.

Вера скривила губы и отвернулась.

Коренастый, лысоватый Коротеев сегодня с самого утра работал рядом с нею, ловко и неумолимо, как машина. Он, казалось, с какой-то жадностью все старался всадить лопату поглубже, набрать пополнее. И в обед с такой же жадностью согнулся над своим котелком, прочно уставив его на коленях, и ложку тоже набирал пополнее, с верхом, а потом долго, старательно скреб ею по дну и по стенкам. А самое неприятное, что он все как-то пронзительно поглядывает маленькими светлыми глазками на Веру и то усмехнется понимающе, то подмигнет ей. Будто они старые знакомые. Очень он ей нужен!..

— Веселей, веселей, друзья! — поторапливает Тихонов. — Сейчас поработаем, зато потом нам никакие осколки не страшны.

— Вот еще, осколков бояться. А уж достанет, так умрем. На то война, — тряхнув головой, откликается Вера.

— Храбрые у нас девушки, — посмеивается Коротеев. — Им не то что Гитлер, сам черт не страшен.

— Ничего-то вы еще не понимаете, Чукаева, как я погляжу, — говорит Тихонов. — Умрем! Умереть дело не хитрое, да зачем без толку помирать? А вот ты сумей сам жив остаться, а врага убить.

— Сколько сил на эти ямы кладешь, лучше их для боя побережь, товарищ сержант, — не сдастся Вера.

— А вы поменьше берегите свои силы, Чукаева. На то война, чтоб их не жалеть. Вон послабее вас работают. Не ждут, чтоб за них другие сделали.

Вера даже не повернула головы, она и так знала, куда показывает Тихонов. В какой уже раз, выговаривая ей, сержант приводит в пример бойца Смирнову.

* * *

Едва разведчик-наблюдатель крикнул «воздух!», из глубоких землянок выбежали орудийные расчеты. И время сразу стало измеряться секундами.

— Курсом 91 два «юнкерса-87», высота 25.

Лейтенант Атарин встал у биноклярного искателя. Все четыре пушки на мгновение опустились, чтоб скинуть чехлы, и, спокойно нацеливаясь, устремились в небо. И с четырех сторон лейтенант услышал:

— Третья готова!

— Первая готова!

— Вторая готова!

— Четвертая готова!

— По «юнкерсам»! Темп пять! — раздалась команда.

Напряженно работают девушки-прибористки. Их умный и точный прибор ПУАЗО управляет артиллерийским огнем зенитной батареи. И вот Октябрина, совместив стрелками разное время полета снаряда и цели, срывающимся от волнения голосом докладывает:

— Есть совмещение!

И лейтенант Атарин невозмутимо, как на учебных стрельбах, командует:

— Огонь!

Белые облачка разрывов возникают в ясном небе чуть впереди «юнкерсов». Самолеты сворачивают влево. Они уходят к солнцу и из-под его лучей, слепящих глаза зенитчикам, вновь кидаются на батарею.

— Огонь!

Головной «юнкерс», переваливаясь, как пьяный,

с борта на борт, начинает терять высоту и, не успев сбросить бомбы, взрывается неподалеку от батареи.

— Отлетелся один! Ура! — кричит Вера.

Она загляделась на горящий самолет, и какую-то долю секунды ее рука медлит на ключе. Доля секунды — много ли? Самая малость. Чуть запаздывает автоматический приказ, передающийся по кабелю на орудие, чуть запаздывает выстрел. И второй «юнкерс» успевает сбросить свой груз. Бомбы разрываются совсем рядом.

— Зазевались, барышня, — сказал Вере после боя Коротеев. — Если вы всегда этак с прохладцей будете мне сигналить, у нас с вами дело не пойдет.

— Отстаньте! — огрызнулась Вера. — Тоже еще указчик нашелся.

Она и без того была зла на себя, она понимала, что каждый вправе упрекнуть ее, и оттого Коротеев со своими колючими светлыми глазками и справедливыми словами, на которые нечего было ответить, показался ей еще ненавистнее.

Разбирая бой, лейтенант Атарин сказал ей то же самое:

— Зеваете, Чукаева. Подводите всю батарею. В бою по сторонам глядеть некогда. От одного зевка можем все погибнуть, можем и врага пропустить.

Вера опустила голову. Она знала: куда ни погляди, увидишь хмурые лица, осуждающие взгляды. Молчали артиллеристы, молчали девушки-прибористки, но их молчание говорило яснее слов.

В этот вечер ей неуютно было в землянке, и, улучив минуту, она незаметно выскользнула за порог. Степь, недвижная, прятая и жаркая степь обступала со всех сторон. «Одна, — думала Вера. — Одна в целом свете. И никому нет дела, что у тебя на душе. Чужие чужими и останутся».

За спиной легкие шаги, потом голос Октябрины:

— Вера, у тебя иголка с большим ушком, дай, пожалуйста.

— У Ольги спроси, — Вера даже не обернулась.

Ведь видят, что ей не до них. Нет, иголка им понадобилась.

— Вера, может, ты приладишь на мне гимнастерку? — снова заговорила Октябрина. — Я бьюсь-бьюсь, а ничего не выходит. Велика очень и рукава болтаются, ничего делать невозможно.

«У человека беда, а она с пустяками, с тряпками, — мстительно думает Вера. — А не понадобилась бы, так до ночи одна бы просидела, никто бы и не вспомнил. Ну нет, обходитесь сами».

— Наталью свою проси. Или Женьку.

После такого ответа не очень-то приятно дальше просить, уговаривать. Но Октябрина словно бы и не замечает Вериной резкости.

— Да уж всех просила. Не берутся, говорят, только ты можешь сделать. Вера, я тебя очень прошу, никак без тебя не обойтись.

— Обойдетесь.

Молчание. Но Октябрина все не уходит. Чего ей надо? Вот подошла вплотную, села рядом.

— Вера, — начинает она, — ну чего ты нас сторонись, чего огрызаешься, словно мы тебе чужие?

— А то, может, не чужие? Может, скажешь, кому-нибудь до меня дело есть? Если б не гимнастерка, ты бы и не вспомнила про меня. Уж молчала бы.

— Лучше ты сама замолчи, — прерывает Октябрина. — А то наговоришь такого, что потом всю жизнь самой будет тошно вспоминать. Вот пойдй лучше в землянку да спроси у девчат, о чем у нас сейчас был разговор.

Октябрина говорит решительно, сердито, словно старшая. Удивленная Вера насторожилась. Что еще они там затеяли? Но пойти сейчас туда, на люди...

— Не пойду. Чего я там не видала.

— Ну, как хочешь. Тогда я Женю с Наташей сюда позову.

Вера вскочила.

— Оставьте вы все меня в покое! — крикнула она. — Ну, чего ты пристала? Чего тебе от меня надо? Воспитываешь? Не притворяйся. Не верю я в эту вашу заботу друг о друге. Все одно притворство. Притворство, понимаешь? — и, повернувшись, она исчезла в темноте.

Октябрина не пошла за ней. Совсем не просто подойти к человеку, который тебя избегает, нелегко заговорить с ним, и уж совсем невозможно заговорить снова, когда тебя оборвали. Как же быть? Вот и Наташу и Женю отпугивает резкость Веры, и не лежит к ней душа. А ведь есть в ней что-то, есть. Два человека. И второй человек крепкий, горячий. Только его редко видно. А как было с Танюшкой, с Симой? На них ведь тоже не всегда было приятно смотреть. А когда заглянешь поглубже...

И еще одно: мы на войне. Много стало яснее и проще. Проще? А вот подойди-ка сейчас к этой Вере, попробуй. Совсем не просто... Сложен человек, ох, как сложен. Но ведь не бросать же его из-за этого!

* * *

Все ближе линия фронта. Ни днем ни ночью не умолкает канонада. Ни днем ни ночью не дают покоя вражеские самолеты. Давно уже батарея Атарина покинула свою защищенную, оборудованную по всем правилам позицию, то и дело приходится переезжать с места на место, кое-как маскироваться, устраивать ложные батареи.

В те дни на их участок фронта гитлеровцы бросили крупные силы: два корпуса — немецкий и румынский — и танковую дивизию.

В те дни мы впервые увидели в сводке Совинформбюро Сталинградское направление.

Около шестидесяти Ю-87 появились в зоне огня батареи. Они шли бомбить первую линию траншей и зенитные батареи, которые уже не раз путали им все карты. И началась уже знакомая зенитчикам карусель: прикрывая друг друга, «юнкерсы» описывали концентрические круги и один за другим пикировали на цель.

— Огонь! — командовал лейтенант Атарин чуть не каждые три секунды. — Огонь!

Он сорвал голос и только беззвучно шептал, а Тихонов передавал команды, как мощный радиоусилитель.

— Огонь!

Вражеские самолеты налетали волнами каждые пять-десять минут, но ни сбросить груз на траншеи, ни заставить батареи замолчать им не удалось.

Наконец-то недолгое затишье. И вдруг снова:

— Воздух!

Все ближе надрывный свист. Рванув Веру за собой, Октябрина кинулась на землю.

Падая, Вера выдернула руку, не сразу она поняла, не сразу услышала крик Октябрины:

— Ложись! Ложись! Осколочными бомбит!

Наконец, задыхаясь, в измятых, покрытых пылью гимнастерках они поднимаются с земли. Самолетов уже не слышно.

Над головой взвыла мина.

— Укрыться в окопах! — приказывает Атарин.

Наскоро отрытые окопы неглубоки, люди вжимаются в землю. Кое-кто втягивает голову в плечи. Все молчат, даже девушки.

Тихонов поглядел на одного, на другого, вынул кисет, заботливо скрутил сигарку.

— Спички есть у кого? — неторопливо спрашивает он.

К нему протянулось несколько рук с самодельными зажигалками. И сразу всем стало как-то спокойнее.

И только теперь заметили, что Чукаева высунулась из окопа и не пригибает голову, даже когда мина взвояет совсем рядом.

— Пригнитесь, Чукаева, — говорит Тихонов. — Нечего зря под мины лезть.

— Неужели кланяться каждой мине, товарищ сержант? Много чести, — беспечно отвечает Вера.

Заметили? Вот и хорошо. Пусть знают: что-что, но она не трусиха.

— Напрасно это вы, Вера. Никому не нужное ребячество, — с упреком говорит самый старший на батарее красносармеец Козлович.

Сразу видно, что это человек глубоко штатский, несмотря даже на военную форму; в мирной жизни он скрипач. На девушек он посматривает с грустной нежностью, которая частенько кажется им смешной, как и его отеческие советы: не сидеть на сырой земле,

писать почаще домой. Вот и сейчас он говорит Вере не сердито и терпеливо, как маленькой:

— Неужели вам жизнь не дорога? Или хотите стать калекой?

Но Вера не отвечает, не оборачивается, будто и не слыхала. Она знает, что минный обстрел опаснее многого другого, но где-то в самой глубине ее души жива уверенность, что ее не убьет, не ранит, что ее, как говорится, пуля не берет. Пусть видят: она не из пугливых. И она все стоит, облокотившись на бруствер.

Больше ей никто не сказал ни слова. Но на фронте не любят, когда кто-нибудь делает вид, что ему все нипочем. И с этого дня Вера сильнее почувствовала окруживший ее холодок — куда сильнее, чем в тот день, когда, заглядевшись на горящий «юнкерс», упустила драгоценную для батареи долю секунды.

* * *

Догорает поздний летний закат. Тихо на батарее. Кое-кто ушел в землянку отсыпаться после долгого нелегкого дня, писать письма, чинить обмундирование. Другие сидят в сумерках прямо на земле, курят, разговаривают.

— Опять тебе сразу три письма, Андрей Петрович, — говорит Коротеев. — Вот это жена, прямо зависть берет!

— Жена, что говорить, заботливая, — со смущенной лаской в голосе откликается Тихонов. — И дочки часто пишут. Младшая, конечно, по-печатному, а все-таки. А сегодня это не из дому, это дружки пишут. Только поспевай отвечать.

— Охота на чужих людей свободную минутку тратить.

— Они мне не чужие, Иван Федорович. Друзья.

— А это все одно чужие. Вот свои, семейные, дело другое.

— Видно, у вас никогда друзей не было, — не выдержала Октябрина, — оттого вы так и говорите.

— Что знаю, то и говорю, — неторопливо возразил Коротеев. — Друзья... Друзья это так, чтоб время про-

вести, в кино сходить или там погулять в выходной. А для жизни они ни к чему. И даже удивляюсь я на тебя, Андрей Петрович. Наша Ина — дите малое, у нее и соображения-то настоящего нет, она еще жизни не видала. Начиталась книжек и думает, все так и есть, как там описывают. А уж ты об жизни должен понимать.

— А что понимать-то? — Тихонов аккуратно погасил самокрутку. — К чему ты клонишь, Иван Федорович, не пойму. Какой-то у тебя выходит одиноличный разговор. Что ж, по-твоему, у человека только и свету, что в своей семье?

— А ты как думал? Недаром в народе говорится: нет дружка верней родимой матушки да родного батюшки. Вот я про себя скажу. Как осиротел по девятому году, так чего только не натерпелся. Ну, выбился все-таки, вышел в люди. Я каменщик знаменитый, сколько домов сложил. Пришло время — женился. И хорошо, понимаешь, жили. — Коротеев помолчал, задумался. — И друг у меня был, как не быть! Вместе работали. Я ему никаких секретов не жалел: на, зарабатывай. Так, бывало, на почетной доске рядышком и висим. И в доме он у меня чуть не всякий выходной. Гостя почему не принять. Зарабатывал я хорошо. Сам обут, одет. Жене платье шелковое, пожалуйста. Сынишке автомобиль заводной. И пирог она спечет. Вообще-то я непьющий, а четвертинку отчего не раздавить. Ведь не грех, как скажешь?

— Не грех, — подтвердил Тихонов.

— И вот он же, понимаешь, друг мой, приятель, всю мою жизнь и порушил. Ушла к нему моя Анна и сына забрала. И на что польстилась? Тот же год он ее заставил на стройку пойти, к маляру подсобницей. У меня-то она хозяйкой была, дома сидела, жили, как люди. А он ее давно сбивал: «Не скучно ли вам, Анна Григорьевна?» А чего было скучать? Экое веселье — в маляры вышла...

— А чем не квалификация? На свои ноги женщина встала, — сочувственно, но и чуть насмешливо глядя на пасмурное лицо Коротеева, промолвил

Тихонов. — Ты, я вижу, собственник был в семейной жизни, Иван Федорович. Потому она у тебя и не за-
ладилась.

— И пеняли бы на себя, а не на жену да на прия-
теля! — задорно подала голос Женя.

— Смотрите, какой домострой развел, — поддер-
жала ее Наташа.

Коротеев обвел их медленным, тяжелым взглядом.

— Эх, вы, — сказал он не сразу. — Я вам для ва-
шей же пользы говорю, для понятия о жизни, а вам
смешки...

— Не тем понятиям вы их учите, Иван Федоро-
вич, — вмешался Козлович. — Я вас постарше. Можно
сказать, вся жизнь позади. И смело скажу: друзьями
жив человек. Одному, без людей, с одной своей семьей
жизнь не прожить. А как вы учите, так не люди, так
барсуки существуют.

— По-вашему, по-ученому, может, и барсуки, —
сердито сказал Коротеев. — А только я тоже стреля-
ный воробей и что знаю, то знаю: чужому не верь, на
чужого не надейся. Старики были не дураки, говори-
ли: всяк за себя, один бог за всех... да и того по ны-
нешним временам нету.

Тихонов поднялся, положил руку ему на плечо.

— Ну, будет тебе, Иван Федорович. Расстроился
ты, понятное дело, а уж нагородил... Пойдем-ка, не-
чего девчатам головы забивать.

Пожелав всем доброй ночи, ушел и Козлович.

— Противный этот Коротеев, — сказала Ольга.

— Ну и приятель у него тоже хорош. Лучшему
другу жизнь поломал.

— Все равно противный. Выйдешь за такого — на-
плачешься.

— А ты смотри, за кого выходишь, — фыркнула
Женя. — Ну, девчата, вы как хотите, а я на бoko-
вую.

За нею скрылись в землянке и остальные. Одна
Вера еще долго сидела у входа, неподвижно глядя
в темное небо. Не до сна ей было. Слова Коротеева
о чужих людях снова и снова отдавались в ушах.
И все муторнее становилось на душе. Ведь надо же,

человек, который с первой минуты так неприятен ей, этот ненавистный Коротеев со своей вечной усмешечкой думает о людях совсем как она!

* * *

Кончался август сорок второго года. Все мы тогда засыпали и просыпались с мыслью о Сталинграде.

«Представляют ли себе в тылу, что здесь происходит?» — думала Октябрина, глядя, как на горизонте вот уже вторые сутки горит Сталинград. Города не видно, — только дым, дым... Сплошная черная туча дыма становится все гуще, все тяжелее. А вокруг небо чисто, безоблачно, и в нем, как у себя дома, разгуливают «юнкеры», «мессеры», «хейнкели»...

— Ничего мы не знали, Женя. Ничего. Ни любви, ни ненависти. Только теперь начинаю понимать Герцена. Он знаешь, как говорил? Кто никогда не ненавидел, тот еще не жил вполне. Какое это живое, вечно жгучее чувство. Точно сказал, правда?

Женя молчит и, сдвинув брови, смотрит все туда же, в сторону Сталинграда. И другие тоже смотрят. Не отвести глаз от горящего города: он, как живая рана, в этот солнечный летний день. И печать боли на всех лицах: на лицах девушек, на загорелом в резких складках лице сержанта Тихонова, — сейчас никак не скажешь, что сержанту лишь недавно перевалило за тридцать. Почти так же глубоки морщины на его лице, как на лице старика Козловича.

— Ненависть — это хорошо, — говорит Козлович, глядя на пылающий Сталинград. — Без ненависти нам сейчас нельзя. Война без ненависти, как замужество без любви.

Девушки удивленно оборачиваются к нему.

— Да, да, — говорит он. — Это Эренбург написал. Хорошо написал.

— До Волги дошли. Гады... — глухо говорит Женя.

И так же тихо и ненавидяще говорит Октябрина:

— Хоть бы одному фашисту в глаза посмотреть... Что у него там, в глазах?

На рассвете Октябрина просыпается от непривычной тишины. Неужели не бомбят? Она вылезает из землянки. Город все еще горит. Но небо, едва светлеющее, совсем чисто. Ни одного вражеского самолета.

Октябрина глубоко вздыхает. «Почему мы смеемся в самые тяжелые минуты? Почему я могу долго и безмолвно смотреть на встающее солнце? Знаю: потому, что верю в будущее. Верю в счастье».

За спиной — шаги. Это выходит из землянки Наташа. Лицо у нее розовое, заспанное.

— Тихо как... — говорит она, опускаясь на землю рядом с Октябриной. — Как будто и войны нет.

Октябрина задумчиво кивает. Отвечает не сразу:

— Понимаешь, вот до самой Волги они дошли, а все равно я верю, знаю: впереди все будет хорошо!

* * *

Шел сентябрь 1942 года. Полк, в котором воевала Октябрина, стоял юго-западнее Сталинграда. Батарея лейтенанта Атарина оказалась близко к переднему краю. На оружейный дворик все чаще залетали мины даже мелких калибров.

Яростно отражая атаки вражеской авиации, батарейцы долгими часами не отходили от приборов и орудий. Они били и по минометам врага и прямой наводкой по пехоте. Самолеты шли волна за волной, они пикировали на огневые позиции одновременно с фронта, с тыла и с флангов. Приходилось стрелять уже не всей батареей, а каждым орудием отдельно, по разным целям. В короткие минуты передышки повар Дуся бегала от одного орудия к другому — разносила в котелках горячий суп, уговаривала бойцов поесть. Лишь ночью ослабевало напряжение боя. Можно было подвезти снаряды, продукты, воду, по очереди час-другой поспать тут же у орудия или прибора.

Потом наступили два дня передышки.

— Видно, надоели мы им, — посмеивались батарейцы. — Сообразили, что не по зубам орешек.

Но едва успели почистить орудия и приборы, отоспаться немного, на батарею двинулась вражеская пехота. И снова орудия били прямой наводкой. Прибористки залегли за невысокой насыпью с автоматами в руках.

В первые минуты Октябрина начала стрелять часто, почти не целясь: гитлеровцы шли так густо, что, казалось, не попасть невозможно. Они бежали, и падали, и ползли, и снова бежали к батарее.

— Спокойнее, Смирнова, не торопитесь, — услышала она голос Тихонова. — Берегите патроны. Бейте только наверняка.

Он сказал все это ровно, не торопясь, как говаривал на учении, словно не выли вокруг мины, не свистели осколки, не сжимал все теснее кольцо враг. И Октябрине стало спокойнее. Как-то вдруг нашлись и лишняя секунда прицелиться поточнее и выдержка — плавно, без рывка нажать спуск.

Бой был долгий. Батарея сковала и истрепала немалые силы врага. Но все четыре орудия были повреждены и смолкли. Связь со своими оборвалась, все пути отрезаны.

Ни разу еще не приходилось им так круто. И тут впервые поняла Вера, что такое страх. Впереди, сзади, с боков бежали батарейцы. Стреляли, бросали гранаты, ложились, когда близко слышался вой мины, и тут же вскакивали и снова бежали вперед. А она всякий раз медлила в воронках, не в силах оторваться от земли, снова бежать под пули и видеть, чувствовать, что со всех сторон ее настигает смерть. Она почти не стреляла, она забыла о гранатах. «Бесполезно, — проносились обрывки мыслей. — Конец. Живой отсюда не выбраться».

Под жестоким минометным огнем тащили на плащ-палатках двоих тяжелораненых. лейтенант Атарин с несколькими бойцами прикрывал отход.

Измученный многочасовым боем, остерегаясь запутаться в бесчисленных степных овражках и нарваться на засаду, враг, наконец, отказался от преследования.

В одном из оврагов укрылись бойцы. Решено было отходить к Сталинграду.

Разведчики ушли в разные стороны. Их ждали к ночи — тогда можно будет добраться до своих. Оставалось самое трудное — ждать. И всякий ждал по-своему.

Козлович сидел на обточенном полой водой камне, упершись подбородком в ладони, локтями — в колени, и, задумчиво глядя на рыжий склон оврага, еле слышно насвистывал что-то ласковое и грустное. Подошла Вера, прислушалась. Криво усмехнулась:

— А вы все со своей музыкой? Нашли время.

Он посмотрел на нее с изумлением, потом с жалостью. Хотел что-то сказать, но она тотчас отошла.

Плохо ей было. Страшно. Одиноко. Неужели все кончено? Жизнь, мечты... Неужели ничего больше не будет? Все равно не выйти отсюда.

Она переходила от одного к другому, не находя себе места. Вот Красильникова деловито проверяет автомат. Костырева старательно штопает локоть гимнастерки. «И что только девчонки из себя строят? — думает Вера. — Ведь все равно боятся».

— Всем страшно, — услышала она негромкий голос сержанта Тихонова и вздрогнула от неожиданности: как это он догадался о ее мыслях? Но нет, это он не ей — Наташе.

— Кому охота умирать? — продолжает он. — Да только храбрый этим мыслям воли не дает. А трус носится со своим страхом, как тот дурень с писаной торбой. Так-то. А я, когда в бой иду, о смерти не думаю, нет. Я о доме думаю, о ребятишках.

— Что о доме думать, когда, может, его и не увидишь больше? — не выдерживает Вера.

— Храбрый-то верней увидит. Храбрый скорей вернется.

— Что ж, его пуля милует, мимо летит? — зло спрашивает Вера.

— Не мимо. Тут секрет простой. Трус в бою голову теряет. А храбрый каждый свой шаг, каждое движение рассчитывает. Вот и выходит, он сильнее труса.

— Мало разве героев погибло? — уже совсем по-другому говорит Вера. Ей хочется, чтобы и теперь сержант ответил так же просто и уверенно. Она ждет, и глаза ее уже не избегают взглядов товарищей. С надеждой она смотрит на Тихонова.

— Много погибло героев, — отвечает он. — Очень много. Да только герой и смерть побеждает. Он умрет, за него другие жить будут. Детишки. Родные. Друзья-товарищи. Поняла?

Они долго молчат. Наташа с Женей сидят, обнявшись, и думают о чем-то. И Тихонов задумался. Но кажется, что в этом раздумье они не каждый сам по себе, а еще ближе друг к другу. И Вере не хочется уходить от них. Здесь все спокойно. Вот если бы сегодня идти рядом с Тихоновым. Рядом с ним не страшно.

Сержант Тихонов искоса, незаметно поглядывает на нее. Он-то понимает людей. Вот Смирнову — ту надо сдерживать, беречь. А этой, хоть она и постарше и куда крепче, твердости не хватает. То прямо под пули лезла, а теперь вон в другую сторону шарахнулась.

А Октябрина сидит неподалеку. Она не слышит их разговора, она думает о своем. О том, что Энцик не раз переживал вот такие часы в окружении, в тылу врага. Мама писала, что он партизанит в своем родном краю, в Латвии. Недели, месяцы он окружен врагами. А мы сегодня пройдем. Скорей бы уж ночь.

Октябрина бережно проводит рукой по холодному, гладкому стволу автомата. Скорей бы! И думает с усмешкой: вот бы удивилась Галка, если б видела меня сейчас. А Таня?

А Толя? Вот он не удивился бы. Конечно, нет.

Все чаще и чаще вспоминается Толя. А ведь столько лет не виделись, не переписывались...

Она не слышит шагов Веры, не видит требовательного, спрашивающего взгляда. «Неужели совсем не боишься? — спрашивает этот взгляд. — Не может быть. Просто не поняла еще, что и тебя может убить, как всех. Или притворяешься. А может, и вправду умеешь одолеть страх, не думать о смерти? Чем ты сильна?»

Но Октябрина не слышит немого вопроса. Она сейчас далеко. И Вера опять отходит к Наташе с Женей, к сержанту Тихонову. Она не может ждать одна, она знает: наедине с собой она снова начнет сомневаться, отчаиваться.

Как много значит вовремя подслушанная мысль, вовремя сказанное слово. Серыми, чуть прищуренными глазами смотрит сержант на рослую девушку, беспокойно шагающую взад и вперед по оврагу. Он знает: впереди самое трудное — отчаянная попытка добраться до своих. Не все дойдут, не все останутся живы. Это, пожалуй, потрудней, чем в бою. От того, как поведет себя сегодня эта девушка, будет зависеть и вся ее дальнейшая судьба.

«Поставлю ее рядом с собой», — думает он.

Ночью они ползли бок о бок: в середине Тихонов, справа Чукаева, слева Смирнова, и в обе стороны — редкая цепь бойцов. Ползли долго, осторожно, не отвечая на одиночные выстрелы. К рассвету они оставили немцев позади. Тихонов и Атарин пересчитали людей. Не досчитались троих. Четверо были тяжело ранены. Тех, кто не мог идти, понесли на руках.

* * *

«Здравствуй, дорогая мамочка!!!

Извини, что немного задержала ответ на твое последнее письмо. Большое спасибо, что прислала фотографии. Знаешь, иногда полезешь в вещевой мешок и посмотришь на маленькое фото — твое и папы, да и на себя тоже. Просьба — сфотографируйтесь с папой еще и пришлите. Обязательно! Это не так уж трудно, зато мне радости-то будет сколько!

Мамочка, милая! очень прошу тебя: всеми силами старайся сохранить свое здоровье. За меня не волнуйся. Мне обидно, когда меня жалеют.

Не стану скрывать от тебя, что иногда бывает трудно. А разве мне раньше никогда не приходилось трудно? Так что не бойся за свою дочку. Армия для меня хорошая школа. А то умудренные в житейских делах люди свысока посматривали на меня и говорили, что я совершенно не знаю жизни.

Я жива и здорова. Нахожусь сейчас в безопасности. Вот все, что пока могу сообщить о себе. Знаю, что для вас это самое главное.

Мои дорогие, будьте стойки, не волнуйтесь уж очень за меня.

Я уже давно приняла боевое крещение, так что теперь настоящий вояка.

Не горюй, дорогая мама. Жди меня после победы. Сталинград мы не отдадим, мама. Крепко целую тебя и папочку. Привет всем.

Ваша Октябринка. Вот!»

— Вот и все письмо, девочки, — тяжело вздохнув, сказала Зинаида Николаевна и бережно сложила потертый фронтовой треугольник.

— А от какого числа письмо? — спросила Таня.

— Семнадцатого августа писала.

— Больше месяца шло.

— Где же она сейчас? Как думаешь, Галя, неужели в самом Сталинграде?

— Ну, вряд ли! — стараясь говорить тоном испытанного стратега, сказала Галя. Она скорей откусила бы себе язык, лишь бы не показать, что именно это она и думает.

Таня придвинулась поближе, обхватила Зинаиду Николаевну за плечи:

— Вы ничего такого даже не думайте, — торопливо заговорила она. — Ничего с нашей Инкой не слу-



чится! У нее товарищи знаете какие, они ее берегут. Вот все девчата убеждены, что она вернется целая и невредимая! О ней весь курс думает. И все верят.

— Ох, Таня, Таня... Разве мы можем себе представить, что там сейчас творится...

— Зинаида Николаевна, — деловито спросила Галя, — а у вас по карточкам все взято? Давайте, я схожу, у меня как раз сегодня время есть.

Утешительные слова она говорить не умела. Что тут скажешь? Всякое утешение в такую минуту — кощунство. Ведь она сама, здоровая, крепкая, — здесь, в тылу, а Октябринка, наверно, в Сталинграде. Может, пойти в военкомат и потребовать: кем угодно возьмите, только чтоб на фронт! Только бить фашистов, только не сидеть тут в безопасности, когда даже Октябрина на фронте! Но нет, об этом и думать нечего. Не отпустят с завода. Одно остается — буду работать еще злее. И потом... да, карточки.

— Давайте, я схожу, получу вам, что надо, — повторяет она.

И Зинаида Николаевна, хорошо понимая, почему так настойчиво просит об этом Галя, отвечает мягко:

— Что ж, поди, а то я вправду никак не соберусь. Может, посылки разрешат, так ты на сахар возьми конфет подороже, я пока спрячу. Октябринка хорошие конфеты любит, а там где их взять?

* * *

Враг вплотную подошел к городу. Зенитному полку приказано было переправиться на левый берег Волги. К вечеру машины остановились в нескольких километрах от переправы. Одни части, измученные бесконечными боями, отправлялись во второй эшелон на отдых и пополнение, другие шли им на смену. В низком ночном небе то и дело, завывая, пронеслись «юнкерсы». Но наперекор всему через Волгу непрерывно переправлялись машины, орудия, люди.

Всю ночь полк простоял в ожидании переправы.

Октябрина долго искала политрука. Наконец нашла. Он сидел на подножке машины и, повернув голову, прислушивался к незатихающему грохоту боя.

— Товарищ политрук, разрешите мне остаться в Сталинграде.

— Нет, Смирнова. Приказ есть приказ. А нашему полку приказано переправляться за Волгу.

— Товарищ политрук, ведь неправильно, что мы уходим! Ведь здесь каждый человек дорог!

— Слишком вы еще молодой боец, я вижу, чтоб понимать приказы, — строго сказал политрук. — Раз сказано отходить, значит мы нужнее на том берегу.

— Ну хорошо. Может быть, я чего-то не понимаю. Но можно мне здесь остаться? Мне одной?

— А что будете делать?

— Раненых носить. Бутылкой по танкам. Все, что нужно.

— Послушайте меня, Смирнова. В этих делах и без вас обойдутся. А вас не для того учили. Командованию виднее, где нашему полку место. А раз полку, значит и вам. Сами знаете, сколько техники мы потеряли, сколько людей, вот идем на переформирование. Так что давайте считать, что этого разговора у нас не было. Понятно?

— Понятно...

— Ну вот. Идите к своей машине. Скоро поедem. Медленно, опустив голову, отошла от него Октябрина. Пусть он сто раз прав. Пусть приказ есть приказ. Но как сейчас уйти отсюда, как оставить Сталинград?

* * *

На левом берегу ждала их дальняя дорога. «Вся степь стала дорогой, — думала Октябрина, — во все стороны легли пути. Нет, не так: со всех сторон ведут пути сюда, к Сталинграду. А мы... мы уходим от Сталинграда!»

Хлестал осенний дождь со снегом пополам. Дороги развезло. Каждый километр пути давался с нечеловеческим трудом. Приходилось непрерывно подкладывать под буксующие колеса камни, ветки — все, что попадалось. Так проехали большую часть пути.

Дорога стала медленно, но упорно подниматься в гору. Машины остановились. Все та же отвратитель-

ная мокрая снежная каша валила с неба. Ветер срывал с голов ушанки, распахивал шинели. Девушки возвращались по следу машин, собирали камни в тяжелые, мокрые полы шинелей, потом подкладывали камни под колеса. Но машины буксовали, обдавая людей с ног до головы холодной липкой грязью, и не трогались с места. Ветер становился все яростнее. Девушки промокли до нитки. Закоченели ноги в мокрых портянках. Руки нестерпимо ломило.

Четыре часа кряду одолевали они этот проклятый подъем. А когда он остался позади и машины одна за другой медленно пошли по ровной, начинающей подмерзать дороге, у Октябрины подкосились ноги, и, не оказавшись рядом Женя, она так бы и упала.

С помощью Тихонова Женя уложила подругу в машину. Дождь перестал. С одного из приборов сняли брезент и накрыли им Октябрину. Больше нечем было: все остальное промокло насквозь.

Подъехали к деревне. Ни одна девушка не смогла сама вылезти из машины. Им помогли, некоторых ввели в дом под руки. Кое-кто всхлипывал, не в силах сдержаться. Октябрина молчала.

«Ну чем, чем ты сильна? — в какой уже раз мысленно спрашивала Вера, глядя на Октябрину. — Неужели ты и вправду такая, как кажешься?»

* * *

В землянке накурено, душно, мигает коптилка, но с мороза Октябрине показалось здесь хорошо, уютно: дома!

Весь день валил снег, погода самая нелетная, и зенитчики отдыхают. Девушки занимаются каждая своим делом, для которого давно уже не находилось досуга. Кто штопает, кто взялся за книжку. И все те же частые гости: вон Козлович в уголке читает что-то Наташе — должно быть, получил письмо от сына. Вон Тихонов, как всегда, присел на корточки у печурки нащепать лучины для растопки: это его любимое развлечение. И Коротеев тут: раздобыл где-то старый валенок и неторопливо подшивает свои разношенные вездеходы. Вера у коптилки чинит шинель.

Октябрина пристроилась на уголке стола и принялась было за письмо.

— Опять стихи сочиняете? — с уважением спросил Тихонов, увидев у нее в руках карандаш и тетрадку.

— Да нет, — смутилась Октябрина. — Просто письмо.

— И кому же, разрешите спросить? — понимающе улыбнулся Коротеев.

— Подругам, в институт, — коротко ответила Октябрина.

— Все подругам да подругам. А про дружка небось молчок.

Но Октябрина уже привыкла не обращать внимания на шуточки Коротеева. Да и недосуг: скоро на пост, а нужно ответить на письма.

«Дорогая Танюшка! Вчера получила письмо от Симы. Обрадовалась очень. Пишет, что изменилась, повзрослела. Что ж, так и должно быть. Ведь если бы она осталась такой, как была, скатилась бы она в яму. Мне сперва страшно за нее было. А теперь я понимаю: она хотела делом доказать, что она человек. Да и по ее письму видно, что она другая стала. Ты знаешь, Танюшка, не раз уже я это видела: живет человек, как все, потом вдруг оступится, сорвется — и летит по наклонной, и ничем его не удержишь. А другой перемучается, потом начинает новую жизнь — и уж такой не подведет. Вот есть у нас на батарее одна девушка. Она добровольно на фронт пошла. А товарищ никудышный. Ей кажется, что каждый должен жить сам по себе, а дружба, взаимная поддержка — это все слова, на самом деле каждый думает только о себе. И она не одна такая. Но когда это у людей постарше, я еще понимаю, это у них от прошлого осталось. А у человека нашего поколения откуда? Очень мне хочется доказать ей, что она ошибается, заставить ее поверить в людей. Но она колючая, никого к себе близко не подпускает. Ну да ничего, мы еще посмотрим, чья возьмет.

Ты спрашиваешь, изменилась ли я? Даже не знаю. Иногда кажется, что осталась совсем такая же. А иногда — что совсем другой стала. Наверно, злее

стала (скажи об этом Галке, она обрадуется), смелее немного, да и умнее. На то мы и фронтовики...»

«Мудрой стала? Что же, во всяком случае, куда больше стала понимать», — думает Октябрина. Да, теперь она понимает, как надо беречь людей. Ей вспоминается, как говорил с ней весной парторг завода о Галке. А вот Игнатий Федорович на словах так заботится о своих студентках, о своем факультете, а на самом деле ему безразлично, что с человеком будет. Ведь если бы Симу тогда исключили из комсомола и из института, как он предлагал, она бы погибла.

А Вера? Как к ней подступиться?

Октябрина украдкой взглядывает на нее. У стола они только вдвоем. Все уже спят. И гости ушли, а она даже не слыхала... Заговорить?!

Вера поднимает глаза. Секунду они смотрят друг на друга. И Октябрина первая отводит глаза. «Не тронь», — говорит ей недобрый, каменный взгляд Веры.

Хорошо, не трону. Думай пока сама. Смотри вокруг и думай.

И она принимается за письмо своим. Когда еще выпадет такой досужий вечерок?

«Дорогие мои, — пишет она. — Сейчас час ночи. Мы отстроили себе славную земляночку, и теперь сердитый ветер и мороз нам нипочем. Сегодня выпал первый снег, и уже глубокий, по колено!

В землянке тихо. Товарищи спят. Я сижу и думаю о вас. Мама! Это первый день 7 ноября, который мы встречаем не вместе.

Живем мы, мамочка, хорошо, батарея для меня стала как дом родной. Гитлеровцам от нас солоно приходится. А дальше — что ни тема, то заповедник.

Мы все-таки немножко отпразднуем завтра. Наш скрипач сыграет нам любимые песни, споем хором. Старшина привезет сахар, и повар «сообразит» что-нибудь торжественное на обед. Вы там тоже не унывайте, выпейте по три раза за мои 19 лет, за нашу встречу, за нашу победу.

Извини, что плохо пишу. В землянке темно, коптил-

ка гаснет, с потолка капает. Девчата бормочут во сне: кто про дом, кто про фронт, про гитлеровцев, про бомбы.

Нет ли писем от ребят, от Толи Осенина?

Ну, пиши мне скорее. Я твоих писем жду, как солнышка.

Иду на пост. Уже товарищ крикнул: «Смена!»

Крепко вас целую

Ваш Октябрь».

Товарищ крикнул: «Смена!» Мешкать больше нельзя.

Даже не сложив письма, Октябрина быстро оделась и вышла.

Едва закрылась дверь, Вера торопливо потянула к себе тетрадь и письма. Быстро пробежала глазами исписанный листок, лежащий сверху; закусив губу, развернула треугольник второго письма. Долго, внимательно читала его, потом тщательно сложила. Открыла тетрадь.

На обороте обложки четким почерком Октябрины был выведен девиз Сани Григорьева, каверинского капитана: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

С первых же строк Вере стало ясно, что у нее в руках дневник. Но это не остановило ее. Что она такое, эта Октябрина? Что привлекает к ней людей? И какое ей дело до нее, Веры Чукаевой? Жгучее чувство обиды и любопытства оказалось сильнее неловкости и стыда, которых не может не испытывать человек, заглядывая без спросу в чужую душу, в чужой дневник.

«Сегодня у нас торжественный день. Некоторые девушки, которые приехали раньше нас, принимали военную присягу. На меня это произвело какое-то особенное впечатление, несмотря на то, что лишь стояла в строю и слушала.

Каждое слово присяги выношено годами, миллионами сердец. Поэтому они так вески и значительны. Много народу повторяет одно и то же. Но когда я смотрю и слушаю каждого в отдельности, я чувствую, что это впервые и неповторимо.

Скоро и я буду принимать присягу!

...От Толи никаких вестей.

Никогда не забыть Дятьково. Толин альбом, наши споры о машинах и полетах. И тот день, когда я узнала, что в аэроклуб не примут. И что мы расстаемся. А потом девушек перестали принимать.

Почему, почему я не родилась только годом раньше? Я успела бы поступить в аэроклуб. И теперь бы я летала».

Читать подряд не хватало терпенья. Взгляд выхватывал отдельные записи, строчки:

«Никогда не думала, что с такой любовью можно держать в руках оружие и беречь его, как лучшего друга.

Удивительное наслаждение любоваться хорошими сторонами души человеческой, которые проявляются неожиданно и тем ярче.

Хочу стать скорее настоящим коммунистом, но заслужить это кровью и выработать в себе коммуниста в настоящем, серьезном, трудном деле — в бою.

Проклятая гордость не дает просить помощи.

«Ты, гроза, грозись, а мы друг за друга держись». Хорошо сказано!

Какой странный, непонятный человек В. Ч. Как худо ей, должно быть, одной. Почему она всех сторонится? Почему так напоказ храбра?

Недалеко от позиции сбиты два наших «ястребка». Никто не спасся. Проклятые «мессершмитты». Что-то уж очень нахальны стали!

Тишина. Помолчим немного.
Ясно все, и не нужно слов.
Вся в крови перед нами дорога,
И с врагом разговор суров.

Читала в блокноте агитатора Кр. Армии о подвиге краснофлотцев катера 0101 во главе с лейтенантом Галенко. Отбились от двадцати трех Ю-87. Ю-87 здорово пикирует, видела. Но наши — герои!

Верю, что человек все может.

«Нет уз святее товарищества». Гоголь.
Верно, Николай Васильевич!

Конечно, в Рахметове не главное, что он спал на гвоздях. Но много еще во мне такого, шут возьми!

Как страшно, когда человек поддается страху. Как радостно и спокойно, когда умеешь одолевать его, когда чувствуешь, что ты сильнее его и ни за что ему не поддашься. Владеть собой, своей душой и телом — что может быть достойнее?..

За все, что разбито, за всех, кто убиты,
За испепеленное наше жнивье
Горит, не сгорая, на сердце обида,
И чем ты, товарищ, потушишь ее?
Обида на сердце — и хлеб будет горький,
Обида на сердце — и ты не уснешь,
Ее не утетишь сигаркой махорки,
Ни песней, ни шуткой ее не уймешь.
Не думай: со временем будут забыты
Земли нашей русской печаль и тоска,
Горит в ней солдатская наша обида,
Гасить ее надо лишь кровью врага.

Ночь. Дежурю с винтовкой около прибора. Мерзнут очень ноги в английских скороходах. Ну, ничего. Я ведь все вытерплю. Скорее бы на фронт!

Капитан и лейтенант подошли близко. Ветер, мокрый снег слепит глаза. Кричу: «Стой!» и т. д. Капитан возмущается, что негромко. Обругал на чем свет стоит. Это первый раз за время моей службы в армии.

Мне как-то удивительно везет. Помню, еще под Ст. отошла немного от своей батареи за водой. Вокруг меня, даже чересчур близко, упали 4 бомбы. Я не легла, жалко было, дурочке, чистую гимнастерку пачкать на сырой земле. И ни одна не взорвалась! Я постояла, подождала — не взрываются. И пошла.

Рассказала Тихонову. Говорит: «Это тебя чья-то думка бережет».

А чего боялась больше всего? Как бы с батареи не увидели, как бы не подумали, что я вроде В. Ч. на виду у всех храбрость свою выставляю.

Тревога целый день, круглые сутки.

Стреляем. Уши глохнут от разрывов снарядов. Тоненько поют осколки. Весело!

Прескверно, но жизнь идет вперед и хорошее победит. (И дальше — уже другим карандашом.) Не дописала — тревога. Опять не спала сколо двух суток — дежурная батарея и (пожалуй, главная причина) «Радуга» Ванды Василевской. Страшная, потрясающая правда. Острая, мучительная боль в груди. Родина моя любимая, страдающая и гордая, что мне сделать, скажи, чтобы помочь тебе, что мне сделать во славу твою. Готова на всё, на все муки, даже на муки Алены и Зои К.

Как жалко В. Ч., как обидно за нее. Что может быть ужаснее для человека, чем неверие в людей? Страшно и незачем жить на свете, если жить только для себя. Просто не могу поверить, неужели она глубоко, всерьез убеждена, что все ей чужие. Не может этого быть! Человек без друзей — не человек. До чего же хочу, чтоб она поверила: здесь все свои, и на доверие человек всегда ответит доверием. И в каждом, каждом есть и можно найти хорошее, только умей искать. Почему же она отгородилась от нас стенкой? Почему прячет свое хорошее?»

Вера задохнулась и чуть не отшвырнула дневник. Гнев, стыд, оскорбленное самолюбие кипели в ней. Какое право у Октябрины копаться в ее душе? (Она забыла, что сама без всякого права залезла в душу Октябрины.) «Хорошее! Подумаешь! А может, я плохая, назло всем вам плохая. Где уж мне до тебя!..»

Она сама чувствовала, что мысли эти несправедливые, стыдные, и от этого еще больше злилась на себя, на Октябрину, на весь свет.

«Ах, тебе жалко меня, — думает Вера, — тебе за меня обидно... В каждом есть хорошее... Конечно! И в Коротееве! Особенно, если смотреть сквозь розовые очки... Подумаешь, какая хорошая нашлась. На словах-то все хорошие. Вот сколько всего понаписала. А потом нарочно на столе оставить. Чтоб все прочли и ахали: какая идейная, какая сознательная...»

И, не в силах простить ни себе, ни Октябрине эту горькую минуту, нестерпимое недовольство собой, Вера с сердцем захлопнула тетрадку.

* * *

Это были недели затишья для наземных войск. «На фронтах существенных изменений не произошло», — изо дня в день сообщали сводки. А в воздухе тем временем шли ожесточенные бои, и для зенитчиков настала горячая пора.

Артиллеристы шли рядом с пушками, оберегая их, чтоб не соскользнули в яму, в колдобину, а в самых ненадежных местах подпирали их плечами. Поваленные сосны, осины, ели то и дело преграждали путь. Воронки от бомб и снарядов, засыпанные снегом, подстерегали на каждом шагу. Люди выбились из сил, а лесу все не было конца.

«Здесь проходили фашисты, — думала Октябрина, с трудом одолевая сон, — здесь, в нашем лесу. Их следы всюду на изрытой, израненной нашей земле. Но какое счастье, ни с чем несравнимое счастье знать, что и ты их гонишь. Вот были они здесь — и нет их. И придет день, когда ни одного не останется на нашей земле».

Задумавшись, она не услышала команды «Стой!» и едва не налетела на остановившуюся Женю.

Лес кончился. Здесь, у самой опушки, надо было оборудовать позицию. Как назло, поднялся ветер, и в серых, тяжелых тучах стали кое-где появляться голубые просветы.

Солдаты принялись расчищать площадку, и пушки одна за другой занимали позицию.

Неожиданно работу прервал крик разведчика:

— Курсом 92 «рама», высота 10!

Все кинулись по местам, но «рама» уже скрылась в облаках.

— Застукали! — со злостью сказал Коротеев. — Теперь жди гостей посерьезней.

Назавтра явились гости. Гитлеровцы решили, во что бы то ни стало уничтожить выдвинувшуюся так далеко вперед зенитную батарею.

Все уже было знакомо: и вой пикирующих «юнкеров», и свист осколков, и, самое трудное, то, к чему не привыкнешь ни в сотый, ни в тысячный раз, — стоны раненых, кровь, смерть товарищей. Но батарея отбивалась упорно.

Под вечер неподалеку застряла машина с боезапасом. Атарин приказал всех, кого возможно, отправить за снарядами. Тихонов послал с бойцами и двух самых крепких девушек: Красильникову и Чукаеву.

То ползком, то перебегая от дерева к дереву, Вера уже не первый раз пробиралась к застрявшей машине за снарядами. Услышала близящийся надрывный вой и, втянув голову в плечи, скатилась в старую глубокую воронку. И негромко вскрикнула, налетев на скорчившегося в три погибели человека.

— Черт, оглашенная, чуть мне голову не расшибла, — проворчал знакомый, сиповатый басок.

— Что вы тут делаете? — вырвалось у Веры.

— То же, что и ты. От мины укрываюсь.

Зимний день короток, уже совсем стемнело, но Вере почудилось, что по лицу Коротеева промелькнула недобрая усмешка.

Не говоря ни слова, она поспешно выбралась из воронки и, то пригибаясь, то ползком, снова заторопилась к машине: на батарее ждали снарядов.

Бой кончился. Усталые зенитчики смогли, наконец, оглядеться, подсчитать, кто уцелел, кого уже нет, перевязать раны.

— Коротеев тоже убитый, — сказал кто-то из бойцов.

— Зачем убитый? Тут я, — отозвался из темноты негромкий, сиповатый басок.

— Тут? Целый, не раненый? — повернулся на голос Тихонов.

— Целый.

— Где ж ты был? Что-то давно тебя не видать.

— Снаряды таскал.

— Где ж это ты таскал? — громко и зло спросил еще один боец. — Как мы первый раз с тобой побежали, так ты словно сквозь землю и провалился. Я один таскал, думал, и вправду тебя убило.

— Таскал я... А потом оглушило малость, в воронке оклемался.

— Врешь, шкура! — неожиданно для себя крикнула Вера. — Ты в воронке от мин прятался.

— А ты не пряталась? — круто обернулся к ней Коротеев.

— Я пряталась, да не засиживалась. Меня все видели.

— Верно, видели, — раздалось несколько голосов.

— Кто видел Коротеева? — отдельно спросил лейтенант Атарин. — Подносил он снаряды?

Молчание. Долгое, тяжелое.

И, не выдержав его тяжести, высоким, не своим голосом кричит Коротеев:

— Товарищ лейтенант! Братцы! Да я же...

— Хватит, Коротеев, в другом месте с вами поговорим, — со сдержанной яростью обрывает его Атарин.

* * *

Поздно ночью, когда измученные зенитчики укрылись в наскоро отрытых землянках, Октябрина писала в боевом листке:

«Товарищ! В темные ночи ты стоишь на посту, охраняешь нашу батарею, снаряды и своих товарищей. Враг недалек. По этой земле уже ступала нога фашиста. Немало шпионов, диверсантов, ракетчиков оставил он, уходя отсюда под ударами Красной Армии. Под покровом темноты, пользуясь беспечностью, а подчас и преступной халатностью отдельных бойцов, враг совершает свои черные дела. Боец! Напряженно вглядывайся в темноту, будь чутким, настороженным и внимательным. За твоими плечами родная батарея, родная страна. Ты видишь — черная тень мелькнула вон там и приникла к земле? Слышишь? Кто-то идет. Смотри лучше, товарищ! Пусть глаза твои не знают усталости, а руки крепко сжимают винтовку...»

Не дописав, уронила голову на руки и провалилась в сон.

Проснулась она оттого, что по ногам прошла волна

холода: кто-то вошел в землянку. Вера. Замерзшая, красная, ресницы в инее. Не снимая заснеженной шинели, устало опустилась на лавку. Сидит и смотрит в одну точку. Откуда она сейчас такая? О чем думает?

А Вера места себе не находила. Одна неотвязная мысль точила ее, не давала покоя с той самой минуты, когда каменным, беспощадным молчанием батареицы скрепили свой приговор Коротееву. «Трус, дезертир! Не зря я его ненавидела. Такой и предаст. Предатель. А ведь думали мы одинаково. Я его ненавидела, а думала, как он. Он пойдет под суд, а я останусь на батарее. А думали мы одинаково».

Никогда еще ей не было так тошно, так тяжело, даже в тот уже далекий час, когда на нее лавиной обрушился страх и она никак не могла совладать с собой...

Дописывая листовку, Октябрина изредка вскидывает глаза и смотрит на потемневшее лицо Веры. Эх, Верка, плохо тебе сейчас. Ведь терпеть не могла Коротеева, а о людях рассуждала в точности как он... Но это же совсем другое — Коротеев.

Скрипнуло перо. Вера устало подняла глаза. И вдруг ее точно обожгло: «Октябрина. Она знает! Знает, что предатель и я думали одинаково. Предатель и я... Как же теперь? Что она думает обо мне? Вдруг уже рассказала всем? Вдруг уже вся батарея знает?.. Нет, не может быть...»

Но легче ей не стало. Нет, не стало ей легче оттого, что другие не знают, какова она на самом деле — не на виду у всех, но наедине с собой. Может быть, впервые в жизни Вера поняла, что нет ничего страшнее суда собственной совести.

Октябрина снова подняла голову и встретила отчаянный, вопрошающий взгляд. Она быстро встала, подошла вплотную.

— Довольно тебе мучиться, глупая, — прошептала она, боясь разбудить спавшую рядом Женю. — Ведь это же совсем другое!

Стиснув зубы, чтоб не разреветься на всю землянку, Вера ткнулась лбом в плечо Октябрины.

Давно уже не получали подружки писем от Октябрины. Почти каждый день то одна, то другая забегала к Зинаиде Николаевне, но и ей письма приходили все реже.

Девочки с каждым днем тревожились все сильнее. В конце концов Галка предложила написать Николаю Васильевичу, который в это время находился уже не в Чкалове: может быть, он знает больше. Если Октябрине приходится очень уж трудно, матери она не напишет, побережет ее, а с отцом, пожалуй, поделится.

...Ясный майский вечер. Девочки собрались у Тани: сама Таня и Лена весь день готовятся к зачету, Сима только что вернулась с дежурства в госпитале. Так втроем и застала их прибежавшая с завода Галя — усталая, под глазами черные круги, руки толком не отмыты.

— Ответ от Николая Васильевича!

Николай Васильевич писал, что как раз накануне получил от Октябрины письмо. Он посылает письмо девочкам, но Зинаиде Николаевне просит не показывать.

Октябрина писала так:

«Время, папочка, горячее. Каждый день видимся с незваными гостями. Особенно веселой встреча бывает ночью. Привозят много гостинцев, мы тоже угощаем их от всего сердца стальными конфетами. Ночи три-четыре было даже жарче, чем временами в Ст. Но мы стоим спокойно, думаем только о том, чтобы победить, а не спасать себя. Ни разу еще мы не дрогнули и будем держаться до последнего. Мы, зенитчики, народ боевой, в трудную минуту шутим — и легче.

Скоро будет год, как я в армии. Ты говорил маме — жди ее к 1 мая. Не выйдет. Ждать придется еще и еще. Война еще будет упорная и суровая. И мы с тобой не стоим в стороне. Зато каким светлым и радостным будет день нашей встречи! Я мечтаю учиться в Москве, и о многом, многом.

Папа! Если от меня не будет долго писем или еще что-нибудь случится, вы с мамой не унывайте особенно. Ваша дочь отдает жизнь за такую Родину, которая стоит еще миллионов таких, как я, и лучше.

Папа! Вы не очень ругаете меня, что я добровольно ушла в армию? А? Вы не очень уж обижайтесь. Какой же еще иной путь может быть у меня?

Да что я тебя агитирую, глупая. Ты сам все знаешь.

Ну, прощай пока. До следующего письма. Надо кончать.

Сейчас будет тревога. По курсу 90° слышен смешанный шум мотора («тракторного», острят разведчики).

Крепко тебя целую.

Твоя дочь Октябрина».

Дочитала Таня. И девочки долго молчали, гадая, каково-то сейчас Октябрине? Что делает, что думает она в этот ясный майский вечер?

* * *

А за тысячи километров на запад от Чкалова в этот майский вечер лил холодный, совсем осенний дождь. Дороги развезло, грязь облепляла колеса.

Полк, в котором воевала Октябрина, перебрасывали на новые позиции. Все уже было готово. С минуты на минуту ждали приказа выступать. И Октябрина в тяжелой, намокшей шинели, шлепая в темноте по лужам, торопилась к своим.

Совсем рядом притормозила машина. Кто-то спрыгнул, захлюпала грязь под тяжелыми сапогами. Машина ушла дальше, в темноту. А шаги все ближе.

— Послушайте, товарищ! — услышала Октябрина над самым ухом и не успела еще понять, чей это голос, а сердце заколотилось часто-часто. — Не скажете, где здесь...

Не дослушав, она круто повернулась.

— Толя?

— Октябрь!

Они узнали друг друга мгновенно. Ни годы, ни ночь, ни шинель и пилотка — ничто не помешало им узнать друг друга.

И вот они стоят, крепко держась за руки, удивленные и счастливые.

— Так и знал, что ты на фронте!

Толя улыбается прежней своей мягкой и немного смущенной улыбкой. Октябрина смотрит в такие знакомые, совсем черные в полутьме глаза, и ей кажется, что вовсе не было этих лет друг без друга, что они никогда и не расставались.

— Ты куда? — спросила она наконец.

— Еще не знаю. После госпиталя направили в новую часть, говорят, она здесь. А ты?

— Мы на новые позиции. А раньше ты на каком фронте?

— Под Москвой, в артдивизионе. А ты?

— Я все время была в Сталинграде, еще когда боев не было. В зенитном полку.

— А ведь я знал, что мы встретимся.

— И я!

— Дураки мы были, ох и дураки! Сколько раз я собирался написать. И все почему-то не мог.

— И я...

Заворчали моторы, совсем близко девичий голос крикнул:

— Смирнова! — потом чуть подальше еще голос: — Смирнова!

Толя наклонился ближе, заглянул в бледное, большеглазое лицо.

— Это тебя?

Октябрина кивнула.

— Подожди минуту.

— Нет, надо бежать.

— Знаешь, вот сколько не виделись, а я все равно все про тебя знаю. И что ты на фронте — знал. Честное слово.

— И я знала, что ты не удивишься. Записывай скорей полевую почту, а то без меня уедут.

— Давай. — Он пригнулся к блокноту, нацарапал на листке номер.

— Смирно-ва! — донеслось из темноты.

— Ну, я побежала.

— Октябрь, только ты пиши! Слышишь?

— Непременно. И ты пиши скорей! Буду ждать!

Она побежала, он рядом с нею. У самой машины она протянула ему руку, и он крепко сжал узкую,

совсем не солдатскую ладонь. Потом помог Октябрине забраться в кузов.

Машины двинулись. Вот уже и не слышно их, а лейтенант Осенин все стоит и смотрит вслед, в темноту.

И Октябрина стоит, держась за борт машины и ничего не замечая вокруг, не слыша расспросов, смотрит туда, где только что они опять расстались.

И снова бой. Снова — в который раз! — ведут огонь по врагу бойцы лейтенанта Атарина.

«Скорее встретимся», — думает Октябрина, когда, окутавшись черным дымом, падает сбитый их батареей «хейнкель».

Вот он поворачивает, не долетев до цели, и убирается восвояси, тяжелый бомбардировщик с паучьей свастикой на крыльях; вот, дымя и разваливаясь в воздухе, камнем падает другой.

Еще не один, не два стервятника будут сброшены с нашего неба, найдут свой бесславный конец на нашей земле!

С этой мыслью они воевали. Воевали за то, чтобы небо наше было чисто и ясно, земля наша свободна и жизнь на ней светла и достойна человека. Ради этого шли на боль, на разлуку и на подвиг, на смерть и на тяжкий солдатский труд.

1951—1954

Облонская Раиса Ефимовна

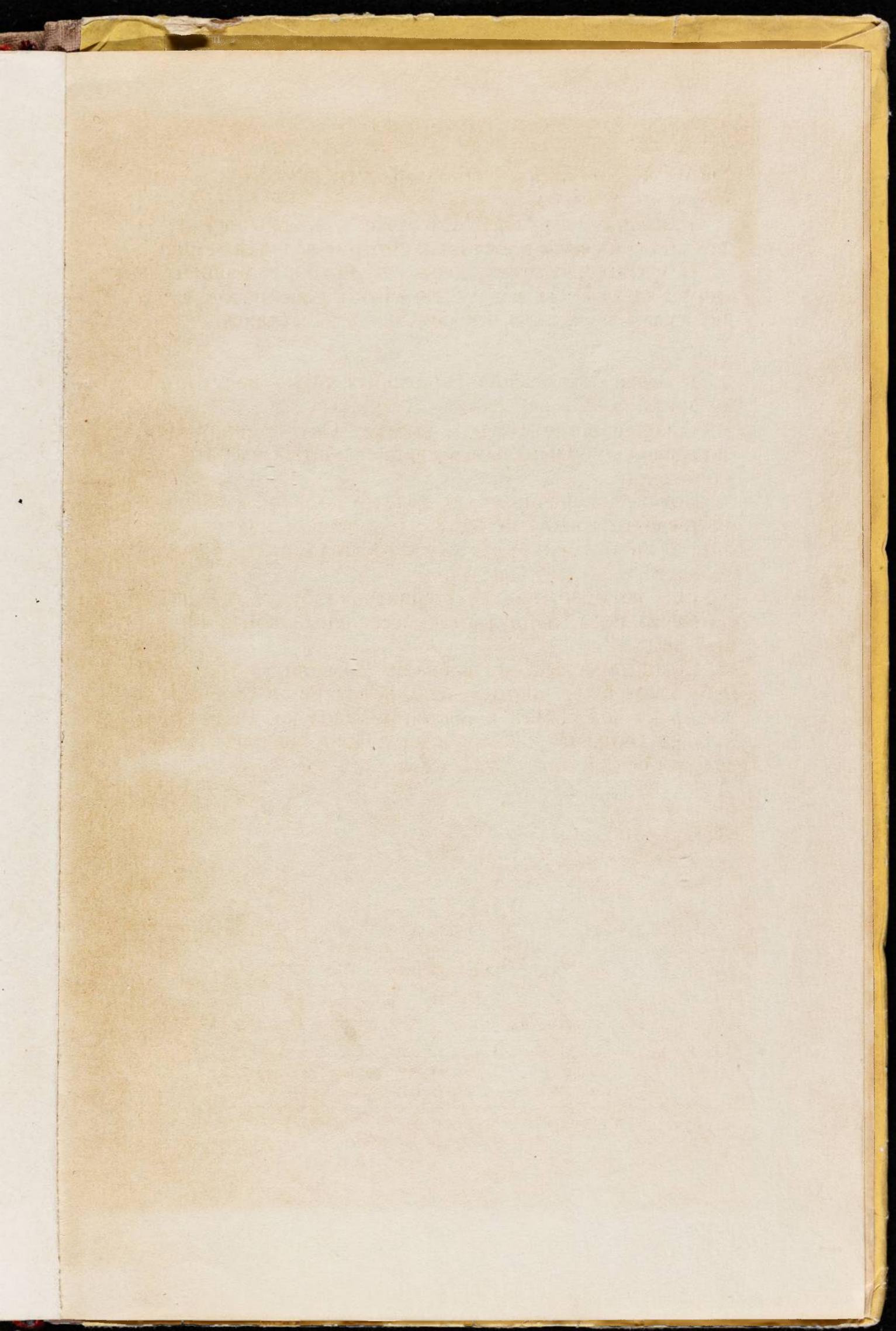
ОКТАБРИНА

Редактор *С. Жемайтис* Художник *С. Куприянов*
Худож. редактор *В. Плешко* Техн. редактор *И. Шувалов*

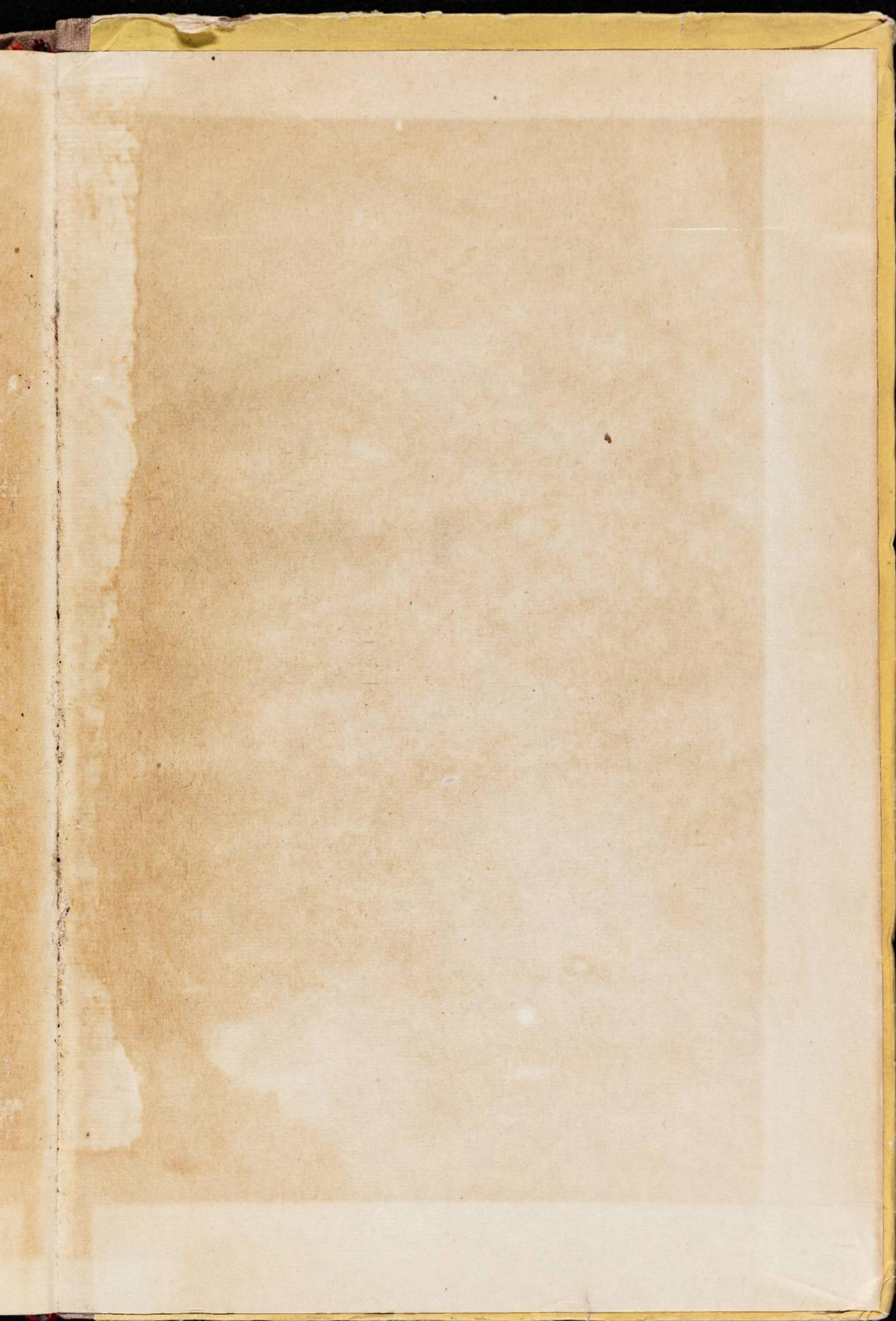
А06190 Подписано к печати 4/IX 1957 г. Бумага 84×108¹/₃₂ =
=3,75 бум. л. = 12,3 печ. л. Уч.-изд. л. 11,8

Заказ 426 Тираж 90 000 экз. Цена 5 р. 05 к.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сушевская, 21.



27



150 =

5 р. ~~05~~ к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ